

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО ·
ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения

Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3
2003

МАЙ

ИЮНЬ

Содержание

СТАТЬИ

<i>Шевченко К.В.</i> (Прага). Русинский вопрос в межвоенной Чехословакии.....	3
<i>Марьина В.В.</i> (Москва). Выселение немцев из Чехословакии: интернационализация и реализация идеи. 1944–1946 годы.....	18
<i>Адельгейм И.</i> (Москва). Обновление психологического языка в межвоенной польской прозе.....	46
<i>Будагова Л.</i> (Москва). Чешский сюрреализм. Динамика и функция.....	52
<i>Менцель А.</i> (Варшава). Мой взгляд на XX век.....	57
<i>Пономарева Н.</i> (Москва). Стремление к синтезу. Художественные тенденции в болгарской прозе и драматургии второй половины XX века.....	63
<i>Флакер А.</i> (Загреб). Глобализация пространства в хорватской литературе XX века.....	68
<i>Шведова Н.</i> (Москва). Эхо символизма: лирика Ивана Краско и словацкая поэзия XX века.....	73
<i>Ильина Г.</i> (Москва). Лики Мирослава Крлежи (Трагедия левой художественной интеллигенции XX века).....	78

СООБЩЕНИЯ

<i>Улуян А.А.</i> (Москва). Возрожденная Болгария (К 125-летию освобождения Болгарии).....	83
<i>Колин А.</i> (Бухарест), <i>Стыкалин А.С.</i> (Москва). О работе комиссии историков России и Румынии.....	90
<i>Плотникова А.А.</i> (Москва). Актуальные вопросы изучения современного состояния языка в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии и Черногории.....	101

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Клопова М.Э.</i> А.Ю. Бахтурина. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны.....	109
--	-----

<i>Седова Н.В.</i> Korespondence: T.G. Masaryk – V. Slavác	111
<i>Герчикова И.А.</i> С.В. Никольский. Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (Поэтика скрытых мотивов).....	113

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Цыбенко О.В.</i> Международная научная конференция “Польша в России – Россия в Польше. Диалог культур и политические отношения”	116
<i>Созина Ю.А.</i> “Круглый стол” “Поэтический мир славянства”	120
<i>Шведова Н.В.</i> Конференция “Фантастика и сатира в славянской литературе и культуре XX века”	123
Новые издания Института славяноведения РАН	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В.К. ВОЛКОВ (главный редактор),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, Г.К. ВЕНЕДИКТОВ,
Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ,
В.В. МОЧАЛОВА, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,
М.А. РОБИНСОН (зам. главного редактора),
Л.А. СОФРОНОВА, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН

А.В. Болдов (отв. секретарь)

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),
Белова О.В. (отдел культурологии), *Валенцова М.М.* (отдел лингвистики),
Васильев М.А. (отдел истории)

Зав. редакцией *Е.В. Пономарева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Веслова И.Ю., Кошкина Е.А.*

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32а, Телефон 938-01-20
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru



© 2003 г. К. В. ШЕВЧЕНКО

РУСИНСКИЙ ВОПРОС В МЕЖВОЕННОЙ ЧЕХОСЛОВАКИИ

Русинское движение, динамично развивающееся в последнее десятилетие, самым фактом своего существования опровергает некогда общепринятое мнение об окончательном решении вопроса этнической самоидентификации местного восточнославянского населения в Восточной Словакии и Закарпатской области Украины. После “бархатной революции” в Чехословакии 1989 г., когда местное восточнославянское население Восточной Словакии получило возможность свободно заявлять о своей этнической принадлежности, оказалось, что более половины тех, кто ранее официально считались украинцами, заявили о себе как о русинах, возрождая свой традиционный этноним и систему ценностей. Согласно официальным данным за март 1991 г., к этому времени 17 197 жителей северо-восточной Словакии идентифицировали себя как русины и только 13 284 заявили о себе как об украинцах. При этом около 50 тыс. опрошенных жителей Словакии указали русинский язык в качестве родного [1. S. 425–431], что свидетельствует о словакизации значительного числа русинов.

Говоря о сути русинского вопроса, один из теоретиков и лидеров русинского движения канадский ученый-славист П.Р. Магочи в выступлении на I Всемирном конгрессе русинов в восточнословацком местечке Медзилаборце в марте 1991 г. подчеркнул, что русины (за исключением русинов Воеводины) все еще не могут рассматриваться как отдельный народ. «Вопрос о том, станут ли русины отдельным народом или лишь частью какого-либо другого народа, – считает Магочи, – и составляет суть так называемой “русинской проблемы”» [2. S. 2].

Активная работа по кодификации русинских диалектов и созданию собственного литературного языка, возрождение специфически русинского взгляда на историю и русинских символов прошлого, критика социализма, во время которого отрицалось само существование русинского народа¹, – таковы отличительные черты современного русинского движения, которое уже достигло определенных успехов. Одним из самых главных достижений движения стала кодификация русинских диалектов Восточной Словакии и создание на этой базе русинского литературного языка, отмеченное на торжественной церемонии в Братиславе в 1995 г. Все это свидетельствует о том, что русинское национальное самосознание, несмотря на интенсивную кампанию по украинизации, проводившуюся советскими и чехословацкими коммунистическими властями с начала 1950-х годов, оказалось весьма устойчивым.

Шевченко Кирилл Владимирович – канд. ист. наук, преподаватель С.-Петербургского Технического Университета (Пражский филиал).

¹ Согласно официальной точке зрения властей СССР и социалистической Чехословакии, все русины считались украинцами. Сам термин “русин” был объявлен ошибочным, а русинское культурное наследие в целом рассматривалось как буржуазный пережиток реакционного и отсталого прошлого (см., напр., [3. S. 84–85]).

Основные черты современного русинского движения, которое трактует русинов как четвертый восточнославянский народ, отличный от украинцев, сложились в межвоенной Чехословакии. Возникновение особой русинской идентичности, отличной от преобладавших ранее русофильских и украинофильских воззрений, было результатом взаимодействия ряда культурных и социально-политических факторов, а также особенностей внутренней политики чехословацких властей в межвоенный период. На самых важных аспектах этого явления мы остановимся.

Перед возникновением независимой Чехословакии в октябре 1918 г. восточнославянское население на территории современных Восточной Словакии и Закарпатской Украины не имело четкой и ярко выраженной национальной идентичности. Отличительной чертой местного населения было широкое распространение русофильских настроений, что являлось духовным наследием известных русинских будителей XIX в. (Духнович, Добрянский, Сильвай, Ставровский-Попрадов и др.). С начала XIX в. русинская интеллигенция отождествляла местных русинов с русскими и могущественной Российской империей, что во многом имело психологические корни: малый и угнетаемый мадьярскими властями восточнославянский народ, населявший бедные северо-восточные жупы тогдашнего Венгерского королевства, нуждался в мощном и авторитетном славянском покровителе. Ориентация на Россию и отождествление себя с русскими и русской культурой проявились в настойчивом стремлении русинской интеллигенции распространить русский литературный язык среди местного населения. Эти усилия, наиболее активно предпринимавшиеся А. Духновичем и его сторонниками, привели в итоге к появлению интересной смеси местных диалектизмов, церковнославянского и русского литературного языков. Эта смесь, получившая вскоре название “язычице”, активно использовалась русинской интеллигенцией и стала постепенно одним из главных элементов русинской традиционной культуры.

Русофильские настроения местного населения усилились в результате военной кампании 1849 г., когда русская армия вступила на территорию Австрийской империи для оказания помощи австрийцам в борьбе с венгерскими повстанцами. Русинское население, через места проживания которого проходила русская армия, было ошеломлено тем фактом, что солдаты самой мощной армии в Европе “по-нашему говорят и по-нашему молятся”. Сам Духнович вспоминал, что одним из самых счастливых эпизодов в его жизни было мгновение, когда он встретил “на прешовской улице казака”.

После трансформации Австрийской империи в Австро-Венгрию в 1867 г. политика мадьяризации славянских народов Венгрии резко усиливается. Со второй половины XIX в. и вплоть до конца Первой мировой войны русинское национальное движение было практически заморожено. Особенно сильно в это время мадьяризация затронула русинскую и словацкую интеллигенцию. К концу XIX – началу XX в. угроза ассимиляции не только русинов, но и словаков становится вполне реальной.

С появлением Чехословакии, в состав которой вошли земли, населенные русинами, ситуация резко изменилась. Чехословацкая республика, славянский характер которой подчеркивался ее лидерами, стремилась извлечь конкретную пользу из абстрактной идеи славянской взаимности. В результате русинская интеллигенция получила большой простор в области национальной и культурной деятельности, хотя влияние чехословацких властей на политику в отношении русинов было очень велико. В рамках ЧСР среди русинов постепенно оформились три главных течения, отражавших ориентацию на различные идентификационные модели. Самым старым и первоначально наиболее влиятельным было традиционное русофильство. Быстро набирало силу молодое украинофильство. Наконец, третьим было собственно русинское течение, считавшее русинов отдельным народом, а не частью русских или украинцев.

Особенности менталитета русинов проявились в процессе присоединения Подкарпатской Руси к Чехословакии. Вследствие крайне неблагоприятных внутрители-

тических условий в Венгрии, первый шаг в направлении радикального политического решения русинского вопроса был сделан представителями многочисленной русинской эмиграции в США. Всеобщий русинский конгресс, состоявшийся 13 июля 1917 г. в Нью-Йорке, принял решение о выходе из состава Венгрии и присоединении к России. По воспоминаниям одного из участников этого съезда, “это было вполне естественно, что мы, как русские, хотели в то время присоединиться к России” [4. S. 13–14].

Однако приход к власти в России большевиков заставил американских русинов изменить первоначальное решение. 30 мая 1918 г. лидеры американских русинов обратились к Т.Г. Масарику с предложением принять их в состав будущего Чехословацкого государства. Позже это предложение было поддержано президентом США В. Вильсоном. После длительных подготовительных процедур по решению Русинского национального совета был проведен референдум среди делегатов проживавших в Америке венгерских русинов. Он состоялся в ноябре 1918 г. в Скрэнтоне (Scranton) уже после провозглашения независимой Чехословакии. 67% делегатов высказались за присоединение к ЧСР, 28 – за присоединение к Украине и только по 1% – за присоединение к Венгрии и большевистской России [5. S. 63].

В самой Венгрии русины стали проявлять политическую активность уже после распада Австро-Венгрии. Было образовано три национальных совета: в Прешове, Ужгороде и Хусте. Прешовский Национальный совет во главе с известным русофилом А. Бескидом выступал за присоединение к ЧСР (поскольку в России произошла большевистская революция), Национальный совет в Ужгороде высказался за присоединение к Венгрии, Национальный совет в Хусте – за присоединение к Украине. Позднее чехи объясняли поведение национального совета в Хусте тем, что он “был изолирован от западных территорий и не был информирован об итогах плебисцита в Америке” [6. S. 186]. Очевидно также, что совет в Хусте не мог не испытывать влияние соседней Галиции, где в ноябре 1918 г. была провозглашена Западноукраинская республика. 15 января 1919 г. чехословацкие войска вступили в Ужгород. В конце января пришло известие о том, что американские русины проголосовали за присоединение их исторической родины к Чехословакии. Эта информация имела решающее влияние на местных русинских политиков. Центральный Русинский национальный совет, сформированный из представителей всех трех местных национальных советов, был создан 8 мая 1919 г. Этот высший русинский орган одобрил решение американских русинов и санкционировал присоединение к Чехословакии.

Первоначальная позиция трех местных русинских советов отразила существовавшие различия в национально-культурной ориентации различных регионов, населенных русинами. Нараставшие различия в национально-культурной эволюции русинского населения были связаны и с тем, что административная граница между Словакией и Подкарпатской Русью, проходившая по реке Уж, оставляла значительную часть русинского населения (около 100 тыс. человек) в составе Словакии. В отличие от русинов Подкарпатской Руси, русины Восточной Словакии оказались в роли национального меньшинства без какой-либо автономии. Права словацких русинов регулировались параграфом 6 Конституции Чехословакии, который гарантировал каждому меньшинству право пользоваться родным языком в общественной сфере и в прессе. В тех регионах, где проживало “значительное количество” граждан, относящихся к национальным, религиозным или языковым меньшинствам, разрешалось использование родного языка при обучении детей [7. S. 30–32].

В отличие от Словакии, управление Подкарпатской Русью осуществлялось на основании Генерального Статута, изданного чехословацким правительством 18 ноября 1919 г. Этот основополагающий для Подкарпатской Руси правительственный документ провозглашал официальным языком язык местного населения и декларировал нежелание чехословацких властей вмешиваться в местные межнациональные споры. Говоря о “части русинов, живущих в Словакии”, Генеральный Статут рекомендовал представителям обоих народов “вести переговоры относительно возмож-

ного присоединения русинских территорий в Словакии к автономному русинскому образованию” [8. 17 XII 1919].

Эти обстоятельства предопределили различные направления культурной эволюции русинов в Подкарпатской Руси и Восточной Словакии. По мнению Магочи, ситуация восточнословацких русинов была отмечена тремя отличительными чертами: 1) нерешенный вопрос единства с Подкарпатской Русью и постоянные трения со словаками по поводу политической лояльности, цензуры, языка обучения в школах; 2) тяжелая экономическая ситуация, еще более ухудшившаяся после экономического кризиса 1930-х годов; 3) культурное возрождение, принесшее с собой проблему приемлемой национальной идентичности (см. [9. Р. 36]).

Чехословацкие власти не исключали возможности изменения административной границы между Словакией и Подкарпатской Русью. Это обстоятельство стимулировало активность русинских политиков. Необходимость объединения всех русинских земель в единую административную единицу была одним из немногих пунктов, спланивавших всех русинских политиков вне зависимости от их ориентации. В целом же различия между русинами Восточной Словакии и русинами Подкарпатской Руси продолжали нарастать. Одна из главных причин этого заключалась в различной степени влияния украинофильского течения.

Появление и растущее влияние в Подкарпатской Руси украинского культурного фактора в условиях межвоенной Чехословакии было вызвано несколькими обстоятельствами. В первую очередь это было связано с влиянием соседней Галиции. Массовая эмиграция галицких украинцев в ЧСР привела к тому, что многие из них осели на территории Подкарпатской Руси и активно включились в украинскую пропаганду, стремясь навязать этнически близкому им местному русинскому населению украинскую самоидентификацию. Архивные материалы свидетельствуют о том, что в начале 1930-х годов число украинских эмигрантов в ЧСР составляло около 6 тыс. человек. Примерно 30% из них являлись выходцами из Галиции [10. S. 184]. Учитывая то, что в начале 20-х годов XX в. число украинских эмигрантов в ЧСР было намного больше, чем в 1930-е годы, большое влияние украинской интеллигенции на ситуацию в Подкарпатской Руси становится очевидным. По воспоминаниям одного из украинских эмигрантов, “когда в июле 1919 г. полк Крауса из украинской галицкой армии пришел в Подкарпатскую Русь, много галичан осталось здесь на постоянное жительство. Они развернули украинскую пропаганду и учредили общество “Просвита”” [11. С. 391]. Символичным представляется и тот факт, что один из ведущих представителей и теоретиков украинофильства филолог И. Панкевич был также эмигрантом из Галиции. Со временем украинофилам удалось привлечь на свою сторону значительную часть интеллигенции Подкарпатской Руси.

Культурные и политические приоритеты, провозглашаемые украинофилами, были неприемлемы для русинских традиционалистов. Украинофилы настаивали на принятии украинской фонетической орфографии, что вступало в противоречие с традиционной русинской системой письма, близкой церковнославянскому и русскому литературному языкам. Кроме того, идеологический облик украинофильского течения в его радикальном галицком варианте предполагал полный отказ от традиционных русинских ценностей и культурного наследия, отмеченных глубокой русофилией, преклонением перед Россией и русской культурой и верностью идее “единого русского племени от Карпат до Тихого океана”. Именно поэтому украинские требования остро критиковались русинскими русофилами.

Полемика украинофилов и русофилов отразила такую особенность русинского мировоззрения, как приверженность историческому наследию Киевской Руси. Русофилы рассматривали Россию как прямую преемницу Киевской Руси, что было связано с их тезисом о существовании единого русского народа. Русофильская пресса в Подкарпатской Руси и Восточной Словакии поддерживала и пропагандировала идею единого русского народа, включая “южных русских” и белорусов [12. 1928. № 4. С. 68]. Сами русины рассматривались местными русофилами как малая, самая запад-

ная ветвь великорусского дерева, сохранившаяся только благодаря духовной связи с Россѣй [12. 1928. № 1–3. С. 32]. Русинская пресса в Восточной Словакии отличалась наибольшим радикализмом в полемике с украинофилами. Печатный орган Русской народной партии в Восточной Словакии – “Народная Газета” – постоянно публиковал статьи, утверждавшие, что украинское национальное движение было не более чем искусственным феноменом, изобретенным в Берлине и Вене с целью расколоть русский народ и ослабить его единство.

Председатель Русской народной партии в Восточной Словакии доктор Мачик рассматривал Украину только как географическую часть России и отрицал существование отдельного украинского народа. На страницах “Народной Газеты” Мачик утверждал, что все украинское движение представляет собой не более чем предательские устремления определенных кругов подорвать единство русского народа и подчинить его иноземному игу. “Австрии было невыгодно русское самосознание в Галиции, и вот австрийское правительство рука об руку с польской шляхтой... старается создать из русского населения Восточной Галиции особый, отличный от русского, народ с отдельной культурой и особым языком..., – писал Мачик. – ...Все стремление этой партии (а не народа, ибо особого украинского народа не существует) – разбить единство русского народа и подвергнуть его чужому игу...” [13. 1925. № 3]. Редакция “Народной Газеты” часто обращала внимание чехословацкой общественности на то, что амбициозные внешнеполитические планы украинских деятелей могут со временем поставить под угрозу территориальную целостность Чехословакии и что во время Первой мировой войны украинские военные формирования сражались на стороне Германии, против которой воевали чехословацкие легионеры.

Украинофильское течение среди русинов было намного моложе и, в отличие от русофилов, не могло опираться на традиционное русинское культурное наследие по причине его русофильского характера. Главным преимуществом украинофилов было их обращение к “естественному праву”. В интерпретации украинских активистов в Подкарпатской Руси это означало в первую очередь “право народа на создание своей собственной литературы на родном наречии” [14. С. 193]. Украинофилы апеллировали к мнению тех ученых-славистов, которые считали русинские говоры диалектом украинского языка. Этой точки зрения придерживались не только украинские филологи, но и авторитетные чешские слависты, включая академика Л. Нидерле. Украинофилы отразили растущее осознание русинами своего языкового и этнического родства с украинцами, национальная идеология которых, однако, была абсолютно несовместима с особенностями традиционного русинского менталитета.

В своей конкретной работе, направленной на “прививку” украинского самосознания русинскому населению, украинофилы стремились учитывать приверженность местного населения сложившемуся культурному наследию. Немедленное введение украинского фонетического алфавита, который значительно отличался от традиционного русинского, было невозможно. Осознавая это, украинофилы прибегли к постепенной украинизации местного населения с учетом его культурного своеобразия, что в целом нашло поддержку у чехословацких властей. Так, “Грамматика” для местных школ была написана украинофилом Панкевичем, который, тем не менее, ориентировался на местные диалекты и использовал традиционный этимологический алфавит как более привычный для местного населения. “Грамматика” Панкевича была задумана как промежуточный шаг в переходе к украинскому фонетическому алфавиту. Учебник, автором которого был другой влиятельный представитель украинофилов, Бирчак, пытался перебросить мост от традиционных русинских к новым украинским ценностям, помещая в одном сборнике стихи убежденного русофила Духновича и стихи украинских поэтов. Подобное соседство выглядело крайне неестественно и высмеивалось русофилами [12. 1929. № 5(15). С. 615–616].

Русофилы также стремились учитывать местные особенности. Ключевая идея русинских будителей XIX в. о принадлежности русинов к единому русскому народу претерпела в это время некоторые изменения. Во время мадьярского господства,

когда национальная жизнь русинов была сильно ограничена, наивная романтическая русофилия вполне соответствовала духовным запросам русинского населения. Несравнимо ббльшая идеологическая и культурная свобода в рамках Чехословакии, а также возросшие коммуникация и социальная динамика населения сделали затруднительным сохранение старых догм в прежнем виде. Архаичная и в определенной степени искусственная “высокая культура” русинских будителей XIX в. с их консервативной фразеологией и ориентацией на церковнославянский и русский литературный языки вступила в противоречие с растущим влиянием народной “низкой культуры”. Под давлением обстоятельств русофилы были вынуждены вносить изменения в свой литературный язык, малопонятный простым русинским крестьянам, приближая его реальным говорам за счет более активного использования местных диалектизмов. Постепенное осознание различий между собственно русскими и русинами со стороны русофилов проявлялось в том, что их представители стали проводить различия между русскими в России и “русскими” в Подкарпатской Руси и Восточной Словакии. Так, один из лидеров русофильского течения, С. Фенцик, называл русских “старшими братьями” и использовал этноним “карпаторусские” по отношению к местному населению [12. 1930. № 1–2. С. 770].

Е. Сабов, другой влиятельный представитель русофильского течения, писал, что «...наш народ признает свою принадлежность к тому же племени, что и русские, но для нас наиболее важен наш язык... Нам не нужен ни русский, ни украинский языки, наоборот, нам нужен наш собственный язык также и в прессе. Наш народ ориентирован русофильски, не украинофильски. Если показать нашим людям русскую книгу, они встретят там незнакомые слова. Но если показать им украинскую книгу, то они даже не станут ее читать, они скажут: “Это на польском...”» [15. S. 124–128]. Даже самые убежденные сторонники русофильской ориентации на страницах “Народной Газеты”, издававшейся в Словакии, вопреки своим постоянным декларациям об общерусском единстве, часто называли местное население “карпаторусами”, тем самым косвенно признавая отличие местного населения от “настоящих русских”.

Примечательно, что “Народная Газета” часто выражала сожаление в связи с плохим знанием русского литературного языка местной интеллигенцией и активно пропагандировала русский язык среди русинов. В одной из ее редакционных статей говорилось, что “многие из культурных представителей нашего народа заняли по отношению к русскому языку отрицательную позицию только потому, что они этого языка не знают... Многие наши интеллигенты мешают возможности проникновения настоящего русского языка в народные массы. Мы в каждом номере “Народной Газеты” будем помещать популярные лекции русского языка... Наступает такое время, когда применяемые до сих пор средства борьбы за русский язык являются недостаточными...” [13. 1926. № 19].

Таким образом, и русофилы, и украинофилы были вынуждены идти на уступки местным особенностям, поскольку это являлось необходимым условием усиления влияния на местное население. Ориентация на местные особенности обусловила появление третьего, собственно русинского течения, которое трактовало русинов не как часть русских или украинцев, а как отдельный народ. В наиболее яркой форме русинское течение проявило себя в Восточной Словакии. Зарождение этого течения происходило в рамках течения русофилов и было представлено русинским греко-католическим духовенством Восточной Словакии. Формирование русинского течения происходило не на пустом месте. Первые подобные тенденции проявились уже во второй половине XIX в., когда венгерские власти, стремясь создать противовес русофильству русинских будителей, культивировали локальный патриотизм и местные особенности. В условиях межвоенной Чехословакии русинское течение явилось реакцией на новую ситуацию, когда, с одной стороны, происходило осознание серьезных различий между русинами и русскими местной русофильской интеллигенцией, а с другой – проявлялось ее острое нежелание отказаться от традиционной системы ценностей и заменить ее совершенно чуждым ей мировоззрением украинофилов.

Представители русинского течения предложили свой ответ на принципиальный вопрос о том, кем же являются русины, вызывавший яростные споры русофилов и украинофилов. По мнению лидеров этого течения, русины являлись отдельным восточнославянским народом, отличным и от украинцев, и от русских. Главным представителем течения являлась прешовская греко-католическая епархия во главе с епископом Гойдичем.

Суть русинского течения удачно выразил сам Гойдич, заявивший как-то о себе: “Я не являюсь ни русским, ни украинцем. Я – русин...” (цит. по: [16. S. 53]). Представители русинского течения предпринимали попытки создать особый литературный язык на основе местных русинских диалектов. Эта, по выражению И. Байцуры, “забавная смесь” стала официальным языком в народных церковных школах, находившихся под контролем греко-католического духовенства. В политическом отношении интересы русинского течения отражал Автономный крестьянский союз, во главе которого стояли Куртак и Бродий.

Русофильское и русинское течения были во многом схожи. Представители и того, и другого поддерживали местные традиции и традиционный язык. Граница между русофилами и сторонниками русинского течения была во многом размыта. Так, местное восточнословацкое отделение русофильского общества “Духнович” по своей направленности было скорее русинским, чем русофильским. Руководство отделения в своем официальном заявлении обозначило цели своей деятельности следующим образом: 1) сохранение единства карпаторусского народа; 2) развитие культуры на основе местных традиций; 3) местный традиционный язык должен быть признан в качестве литературного; 4) все остальные направления должны быть отброшены и должны рассматриваться как “личные амбиции”; 5) любое навязывание чуждых направлений – как “галицко-украинского”, так и “русского” должно рассматриваться как не имеющее смысла [17. 1931. № 2. С. 5]. Данное заявление обращалось к местному населению не как к “русским”, а как к “карпаторусскому народу”, что было частым явлением и в русофильской прессе. Четкую разделительную линию между русофильским и русинским течениями в межвоенной Чехословакии провести довольно сложно. Говоря о сходстве русофильского и русинского течений, О. Рудловчак отмечала, что «многие представители местной ориентации выступали за принятие русской культуры... В обоих случаях принятие русской культуры оставалось мечтой, оба течения использовали “язычие” различных версий..., оба течения связывали национальные особенности, национальное самосознание и местную культуру с религией, оба течения отрицали существование украинской нации и культуры” [18. С. 146].

Яркой чертой русинского течения, роднившей его с русофилами, являлась ориентация на местные культурные традиции. Представители греко-католического духовенства бережно относились к местной литературной традиции и постоянно подчеркивали, что ее основателями были крупнейшие русинские будители Павлович, Духнович и Ставровский-Попрадов [17. 1930. № 15. С. 3].

Вполне естественно, что те черты русинского течения, которые сближали его с русофилами, вызывали резкую критику украинофилов. Русинская ориентация характеризовалась украинофилами как “неестественное и враждебное национальной идее” явление. Сторонники русинской культурной ориентации критиковались украинофилами за “изоляциялизм” и приверженность русско-церковнославянскому языку, который, по мнению украинофилов, был чужд простому народу и “искусственно изобретен кучкой местных интеллигентов, погруженных в старые традиции” [19. S. 2].

С критикой русинского течения выступали и русофилы. “Народная Газета”, например, отрицала само существование “так называемых русинов” и обвиняла представителей русинской ориентации в том, что они являются скрытыми пособниками украинофилов [13. 1929. № 1]. Намерения и практическая деятельность представителей русинского течения воспринимались русофилами как дополнительное препятст-

вие на пути к их главной цели – распространению русского литературного языка и русской культуры среди местного населения.

Особенность Восточной Словакии заключалась в том, что здесь получили развитие только русофильская и русинская ориентации. Украинофильская пропаганда не пользовалась популярностью в русинских районах Восточной Словакии. Странники украинской ориентации были намного влиятельнее в Подкарпатской Руси, где противоборство украинофилов и русофилов распространилось на все сферы жизни и оказывало серьезное влияние на внутривосточную ситуацию.

Подобное положение объяснялось несколькими причинами. Одна из самых главных заключалась в изолированности русинов Восточной Словакии, которая, наряду с географическими и административными факторами, была усилена созданием в первой половине XIX в. отдельной греко-католической епархии с центром в Прешове. Это автономное церковное образование имело колоссальное влияние на духовную и культурную жизнь всего восточнославянского населения Восточной Словакии. Изоляция восточнословацких русинов от их соплеменников в Подкарпатской Руси была усилена новой административной границей по реке Уж, отделявшей Словакию от Подкарпатской Руси. Русины в Восточной Словакии оставались под влиянием местного греко-католического духовенства, настроенного в основном русофильски. Греко-католическое духовенство в Подкарпатской Руси, которое испытывало сильное влияние соседней Галиции, в значительной степени симпатизировало украинофилам.

Другой важной чертой русинов Восточной Словакии являлось то, что они оказались в роли национального меньшинства в Словакии и имели более ограниченные возможности для культурного и национального развития, чем русины Подкарпатской Руси. Кроме того, немаловажную роль сыграло и то обстоятельство, что, в отличие от Подкарпатской Руси, в Восточной Словакии не было мощного коммунистического движения и влиятельной коммунистической прессы, которая внесла весомый вклад в формирование украинской идентичности у подкарпатских русинов. Именно коммунистические газеты были одними из первых в русинском культурном пространстве, которые стали использовать украинский фонетический алфавит [20. S. 284].

Огромное значение имела и политика чехословацких властей, во многом предопределившая нарастающие различия в национально-культурной ориентации русинов Восточной Словакии и Подкарпатской Руси. Уже упоминавшийся Генеральный Статут предполагал решить языковую проблему в Подкарпатской Руси введением “народного языка” в образовании и общественной сфере. Однако местное восточнославянское население рассматривалось чешскими учеными и правительственными чиновниками как этнографическая часть украинцев, говорящая на диалекте их языка. В ответ на запрос чехословацкого правительства Академия наук Чехословакии подготовила специальный документ, в котором утверждалось, что “языком местного населения является украинский язык, который и должен использоваться в Подкарпатской Руси. Принимая во внимание то, что местное население незнакомо с фонетическим алфавитом и что под влиянием церковнославянского языка оно привыкло к этимологическому алфавиту, необходимо использовать этимологию вместо фонетики... В этом направлении, – сообщал вице-губернатор Подкарпатской Руси в своем письме чехословацкому правительству, – я проводил языковую политику” [21]. В этом же письме вице-губернатор сообщал о том, что в соответствии с данным научным подходом он поручил доктору Панкевичу в 1920 г. подготовить грамматику для местных школ, которая была издана и распространена при прямом содействии Министерства образования Чехословакии.

“Грамматика” Панкевича, которая была шагом к принятию украинского письма и фактически подготавливала местное население к переходу на украинское правописание, стала официальным учебным пособием во всех школах на территории Подкарпатской Руси. В то же время использование многочисленных альтернативных

“Грамматик”, написанных русофилами, искусственно ограничивалось властями вопреки многочисленным протестам русофильской интеллигенции, влияние которой на местное население было поначалу намного большим, чем украинофилов. Так, языковая комиссия, состоявшая из представителей местной интеллигенции, в ноябре 1927 г. высказалась за преподавание в школах на русском языке: четыре члена комиссии отдали предпочтение русскому как языку обучения и только два – украинскому [13. 1927. № 17].

“Карпатский Свет”, критикуя политику властей в области образования, обращал внимание на то, что “все учительские конгрессы высказывались большинством за преподавание на литературном русском языке. Но... создается поколение языковых, а значит, и культурно-национальных калек. Все это зависит от учебников, которые Министерство народного просвещения, вопреки целому ряду научных отзывов, все же нашло уместным не только рекомендовать, но и признать единственными для преподавания. ... Неужели из нас желают воспитать вместо русских людей, солидарных своему государству, украинствующих ирриденгов?... – вопрошал “Карпатский Свет”. – Весь мир преклоняется перед русской культурой, все знают Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, но кто знает украинских гениев? Где они?” [12. 1929. № 5(15). С. 615–616].

Открытая поддержка украинофилов чехословацкими властями проявилась в их отношении к влиятельному русофильскому обществу “Духнович” и к украинофильскому обществу “Просвита”. Так, в 1930 г. правительство Чехословакии выделило “Просвите”, оказавшейся в тяжелом финансовом положении, 1 млн крон. Комментируя этот факт, “Народная Газета” утверждала, что без правительственной поддержки украинцы в Подкарпатской Руси не имели бы никаких шансов на выживание [13. 1930. № 3]. В то же время общество “Духнович” пользовалось гораздо меньшей материальной поддержкой официальных кругов. Примечательно, что президент Масарик передал на нужды общества “Просвита” 100 тыс. крон, в то время как общество “Духнович” получило от него только 50 тыс. [12. 1930. № 1–2. С. 772].

Поддержка украинофилов со стороны чехословацких властей объяснялась несколькими причинами. Во-первых, украинофилы были предпочтительнее для Праги в качестве противовеса угрозе венгерского ирредентизма. Многие русофилы были настроены провенгерски, что вызывало подозрение у властей, и это обстоятельство активно использовалось украинофилами, прямо обвинявшими русофилов в пособничестве мадьярам и мадьяронам (см., напр., [22. С. 8–9]). Во-вторых, в противоположность консервативным русофилам украинофилы были идеологически близки левым политическим силам, имевшим большое влияние в межвоенной Чехословакии. Во многом по этой причине украинофилы активно поддерживались такими влиятельными политическими партиями Чехословакии, как социал-демократы, аграрии и коммунисты. Так, благодаря близким связям с социал-демократами, контролировавшими Министерство образования, многие украинцы смогли получить в нем важные посты [10. С. 193].

Учитывая все сказанное, нельзя не признать, что постоянные жалобы русофилов на насильственную украинизацию, осуществляемую через сферу образования, вопреки воле подавляющего большинства населения, “когда 80–90% участников учительских съездов выступают за русский язык обучения” [12. 1931. № 5–7. С. 1207–1208], были вполне обоснованы.

Русофилы были идеологически близки Национально-демократической партии К. Крамаржа, которая не играла сколько-нибудь заметной роли в политической жизни межвоенной Чехословакии. Позиция этой партии не могла оказать серьезного влияния на положение в Подкарпатской Руси. Несмотря на это, общество “Духнович” в целом пользовалось большей поддержкой среди местного русинского населения, чем “Просвита”. Так, в середине 1930-х годов общество “Духнович” имело 315 общественных читален и насчитывало 21 тыс. постоянных членов, в то время как “Просвита” имела 223 читальни и около 15 тыс. членов (см.: [23. С. 298–300]). Однако дан-

ные цифры свидетельствуют одновременно и о колоссальном прогрессе украинофильского течения, особенно если учесть, что изначально украинская самоидентификация была практически неизвестна местному русинскому населению. Одной из наиболее сильных сторон украинофилов следует признать их внимание к социальным проблемам, особенно актуальным в Подкарпатской Руси. Рост украинского культурного влияния был тесно связан с усилением местных коммунистов, партия которых являлась одной из самых популярных в Подкарпатской Руси. Нужно отметить, что с 1926 г. местные коммунисты, подчиняясь партийной дисциплине (в соответствии с решением Коминтерна от 1926 г. все русины были признаны украинцами), стали сторонниками украинского направления и одними из первых начали публиковать свои периодические издания на украинском языке.

Со временем русофилы были вынуждены признать рост популярности украинофилов. Так, “Карпатский Свет” заявлял, что “если принять во внимание исключительно материальную и моральную поддержку украинского движения со стороны некоторых высших инстанций, то можно сказать, что попытка украинизации потерпела полное поражение”. Но одновременно с этим “Карпатский Свет” выражал сожаление в связи с тем, что все должности в сфере народного образования всецело находятся в “руках украинствующих, обучение в реальной гимназии и в учительской семинарии в Ужгороде проходит в украинском духе... Поощрение украинизации школы и населения... затронуло уже наше семейное благополучие. Дети восстают на родителей...” [12. 1931. № 5–7. С. 1208–1209].

Развитие событий в Подкарпатской Руси непосредственно воздействовало на положение в Восточной Словакии. Рост украинского влияния в Подкарпатской Руси вызывал растущую тревогу у местной русинской интеллигенции. В отличие от русинов Подкарпатской Руси, которые управлялись непосредственно из Праги, восточнословацкие русины в большей степени зависели от местных словацких властей, которые не поддерживали украинофилов. Соперничество русофилов и украинофилов в Восточной Словакии протекало поэтому в более естественных условиях. Наблюдая за успехами украинофилов в Подкарпатской Руси, русинская интеллигенция в Восточной Словакии образовала единый антиукраинский фронт. Почти каждый номер “Народной Газеты” содержал ярко выраженные антиукраинские полемические материалы, которые выставляли украинское направление в роли злейшего врага России, славян и Чехословакии. Русская народная партия, издававшая “Народную Газету”, была самой популярной партией среди восточнословацких русинов. Поэтому полный провал всех попыток украинской пропаганды в прешовском регионе Восточной Словакии выглядит вполне естественным. В 1930 г. небольшая группа интеллектуалов-укаинофилов во главе с Д. Зубрицким основала в Прешове местное отделение общества “Просвита”. Однако все попытки основать отделения “Просвиты” в русинских селах Восточной Словакии потерпели неудачу, и “зарожденное украинское движение не смогло получить развитие” [9. Р. 43]. В определенной степени нишу украинского течения в Восточной Словакии заняло русинское течение, которое подчеркивало важность местных особенностей активнее, чем русофилы, не отрицая в то же время традиционного культурного наследия русинов.

Русины в Восточной Словакии оказались в роли национального меньшинства. Избежав угрозы украинизации, которая активно проводилась в Подкарпатской Руси при поддержке официальной Праги, восточнословацкие русины стали объектом ассимиляционной политики со стороны словацких властей. Стремление превратить местных русинов в словаков было связано с несколькими факторами. Во-первых, это соответствовало интересам безопасности ЧСР, поскольку снижало угрозу русинского ирредентизма и их стремления к воссоединению с Подкарпатской Русью. Во-вторых, словакизация русинов прешовского региона шла рука об руку с более общим процессом словакизации всей Восточной Словакии.

Особенность Восточной Словакии заключалась в том, что местное восточнословацкое население говорило на ряде диалектов (спишский, шарышский, земплин-

ский), которые значительно отличались от литературного словацкого языка. Осознание собственной особенности было довольно сильным среди восточных словаков, временами достигая той стадии, когда “некоторые местные лидеры доказывали существование отдельной восточнословацкой, или словяцкой, народности... Со своей стороны ...венгерское правительство поддерживало подобные попытки” [9. Р. 38].

Приводя конкретные примеры словакизации русинов, “Народная Газета” ссылалась на то, что, согласно венгерской статистике от 1910 г., в прешовском регионе Восточной Словакии насчитывалось 295 русинских деревень, в то время как чехословацкая статистика в том же регионе в 1919 г. зафиксировала только 148 русинских и 147 словацких деревень. “Когда мы вступали в союз с чехословаками, мы считали их своими братьями. – говорил один из русинских политиков, сенатор Ю. Лажо. – ... Однако наши “братья” немедленно стали совершать несправедливости по отношению к карпаторусскому населению. Нам было обещано, что мы получим все: автономию, свободу, школы, веру. Мы поверили, а что вышло?” [13. 1927. № 4].

Определенная дискриминация со стороны чехословацких властей в ходе переписи населения 1919 г. облегчалась тем, что значительная часть местного населения, опасаясь возможных неблагоприятных последствий венгерской оккупации и нахождения в составе Словацкой Советской республики (центр которой в июне-июле 1919 г. находился в Прешове), легко принимала “чехословацкую” самоидентификацию, поскольку это могло быть интерпретировано властями как проявление политической лояльности к ЧСР.

Дискриминация восточнословацких русинов была заметна и в сфере образования. В 1922 г. министр образования в Братиславе инструктировал школьного инспектора в Восточной Словакии проводить языковую политику в области образования таким образом, чтобы “в тех греко-католических начальных школах, где до 1919 г. был венгерский язык преподавания, теперь вводился словацкий язык обучения. ...В 1874 г. русинский язык преподавался в 237 начальных школах. В 1923–1924 гг. только в 95 начальных школах использовался русинский язык...” [9. Р. 37]. Согласно переписи 1921 г., в Восточной Словакии насчитывалось лишь 85 628 русинов, что было даже меньше, чем по итогам переписи 1919 г., которая определила количество русинов в 93 411 человек [24]. Примечательно, что, согласно венгерским официальным данным 1910 г., число русинов в Восточной Словакии определялось в 111 280 человек. Таким образом, с вхождением в состав Чехословакии официальная численность русинского населения снизилась.

Чехословацкая пресса нередко изображала восточнословацких русинов как этнографическую разновидность восточных словаков. Например, “Čas” трактовал русинское национальное самосознание как “результат венгерской пропаганды, которая изобрела новую русинскую национальность в качестве противовеса развивающемуся словацкому движению, разжигая ненависть между греко-католиками и римскими католиками” [25. 8 III 1921]. Проявления открытой ассимиляционной политики со стороны словацких властей вызывали многочисленные протесты не только русинской интеллигенции. “Народная Газета” даже сделала вывод о том, что “отдаленная от Карпатской Руси Чехия менее опасна соседней Словакии, которая уничтожает нашу карпаторусскую культуру на оторванной Пряшевщине хуже мадьяр... По словацкой теории, в Словакии нет русских, а есть только греко-католические словаки, которые должны быть ословачены, какие бы методы ни применялись...” [13. 1930. № 1]. Подобная политика словацких властей стимулировала стремление восточнословацких русинов к воссоединению с Подкарпатской Русью. Все русинские конгрессы в Восточной Словакии требовали ревизии границы с Подкарпатской Русью, использование русского литературного языка в школах и в общественной жизни, а также привлечение представителей местного населения к работе в органах государственной власти [8. 31 V 1922].

В отличие от русинов Подкарпатской Руси, главная задача восточнословацких русинов заключалась в противостоянии ассимиляционной политике со стороны государства. Наиболее влиятельные в Восточной Словакии русофилы требовали введения русского литературного языка в школах и в общественной жизни, рассматривая это как главный инструмент в борьбе против словакизации. В то же время русофилы были вынуждены признать, что местные русины, включая интеллигенцию, недостаточно хорошо владеют русским языком. Единственный выход русофилы усматривали в более интенсивной пропаганде русского языка. В условиях, когда само национальное существование русинов оказалось под вопросом, многие представители местной интеллигенции приходили к мысли о том, что лучшим способом противостоять ассимиляции является использование того наречия, на котором говорит местное население.

Именно эта мысль стала дополнительной причиной появления особого русинского течения, которое было представлено не только прешовским греко-католическим духовенством, но и местным отделением русофильского общества “Духнович”. Подобная эволюция русофилов из местного отделения общества “Духнович” была вполне естественной в конкретных условиях Восточной Словакии. Важную роль в формировании русинского направления сыграла политика чехословацких властей.

Еще в 1920-е годы, когда официальная Прага активно поддерживала украинофилов в Подкарпатской Руси, словацкие власти в Прешове весьма сдержанно относились к украинофилам, рассматривая их деятельность как потенциально опасную для Чехословацкого государства. В августе 1930 г. руководители местной полиции в Прешове сообщали в Министерство внутренних дел в Праге о том, что “секретная цель украинского течения состоит в создании Великой Украины с Галицией, Подкарпатской Русью и, возможно, Восточной Словакией. Мы считаем это направление наиболее важным...” В то же время представители местной полиции с большим интересом отнеслись к русинскому течению и к намерению епископа Гойдича создать особый русинский язык на основе местных диалектов [26]. Нужно отметить, что еще в 1924 г. в письме в президиум чехословацкого кабинета министров вице-губернатор и школьный советник подчеркивали, что “для нас, чехов ... местный русинский диалект является самым близким. Чех может легко его освоить, и наоборот... Почему мы должны возводить барьер между Чехословакией и русинами и почему бы нам, наоборот, не сделать русинский язык ближе чешскому и словацкому? Тем самым мы пошли бы навстречу местным силам, сделали бы русинов ближе нашей республике и отгородились бы стеной и от Украины, и от России” [27]. Словацкие власти предприняли практические шаги, направленные на развитие местного русинского языка. Так, “Народная Газета” выражала возмущение по поводу того, что словацкие власти разрешали учителям начальных школ преподавать на местном русинском диалекте, но запрещали обучение на русском литературном языке [13. 1929. № 4].

Вплоть до середины 1930-х годов в Подкарпатской Руси доминировала поддержка украинофилов со стороны официальных властей. Активизация украинского национального движения в 1930-е годы и его явная связь с Германией явились неожиданностью для чехов. “Národní Listy”, сообщая в 1929 г. о Конгрессе украинской молодежи в Подкарпатской Руси, выражали озабоченность по поводу потенциальной опасности украинского движения для Чехословацкого государства [28. 13 VII 1929]. Издаваемый аграриями “Venkov” сообщал об аресте шести украинских студентов, которые вели сепаратистскую проукраинскую пропаганду в Восточной Словакии [29. 17 IV 1930]. Официальный орган чехословацкой администрации в Подкарпатской Руси, газета “Подкарпатске Гласы”, подводя итоги чехословацкой политики в отношении русинов, признавала, что чехословацкие власти с самого начала поддерживали украинское движение. Газета с тревогой отмечала нарастание сепаратистских тенденций в рамках первоначально весьма лояльного украинского течения. Под влиянием данных обстоятельств со второй половине 1930-х годов чехи начина-

ют ограничивать деятельность украинцев, выселяя часть украинских эмигрантов из Подкарпатской Руси в Польшу.

Тем не менее украинское течение за это время укрепилось настолько, что смогло сместить русофильское правительство Бродия и Фенцика в ходе драматических событий после Мюнхенского сговора в ноябре 1938 г. и добиться окончательной украинизации Подкарпатской Руси, которая вскоре была переименована в Карпатскую Украину.

Победа украинофилов в Подкарпатской Руси означала окончательное размежевание между русинами Восточной Словакии и Подкарпатской Руси. Примечательно, что в течение краткого периода в октябре 1938 г., когда во главе Подкарпатской Руси стояли русофилы Бродий и Фенцик, среди русинов Восточной Словакии развернулась массовая кампания за воссоединение с Подкарпатской Русью. Позднее, когда провенгерская политика Бродия и Фенцика позволила украинофилам одержать победу над традиционалистами-русософилами, движение за присоединение к Подкарпатской Руси среди восточнословацких русинов пошло на убыль, хотя пришедшие к власти в Подкарпатской Руси украинофилы во главе с А. Волошиным продолжали настаивать на объединении. Украинофильское правительство в Ужгороде воспринималось восточнословацкими русинами как абсолютно чуждое [9. Р. 45].

Дополнительным фактором, способствовавшим усилению русинского течения в Восточной Словакии, стала политика независимого Словацкого государства. Вопреки явным ассимиляторским тенденциям по отношению к восточнословацким русинам и стремлению трактовать русинскую идентичность как “мадьярское изобретение”, власти независимой Словакии предоставили греко-католической церкви в прешовском регионе еще больше свободы в области образования. На основании закона номер 308/40 все местные русинские школы передавались под непосредственный контроль греко-католической церкви, что было связано с клерикальным характером независимого Словацкого государства. Именно это обстоятельство сыграло решающую роль в том, что “народное русофильство было сохранено” [30. S. 406]. Доминирующее положение русофилов в Восточной Словакии было очевидным. В 1938 г. “Lidové Noviny” признавали русофильскую ориентацию всего русинского населения Прешовщины и подчеркивали, что русский язык являлся языком преподавания в большинстве местных начальных школ (60), в гимназии, в учительском институте и в семинарии в Прешове [31. 18 I 1938].

Национально-культурный облик подавляющего большинства восточнословацких русинов представлял собой комбинацию русофильской и собственно русинской ориентаций, между которыми не существовало четкой границы. И русофилов, и сторонников собственно русинского течения отличали как трепетное отношение к традиционному культурному наследию русинов, так и полное неприятие украинофильской пропаганды. Однако естественная эволюция национальной идентичности восточнословацких русинов была прервана кампанией насильственной украинизации, предпринятой властями коммунистической Чехословакии в начале 1950-х годов.

В отличие от русинов Подкарпатской Руси, для восточнословацких русинов украинская самоидентификация была не только непривычной, но и абсолютно чуждой. Преимущественно негативный образ украинца, существовавший в обыденном сознании местных русинов, в конце войны был только усилен трагическим опытом общения жителей с бойцами УПА, прорывавшимися на Запад через территорию Чехословакии. Одновременно резко усилились и без того широко распространенные русофильские настроения, что стало результатом блестящих военных побед Красной Армии. По мнению исследователей, “восточнословацкие русины в это время не делали никаких различий между русским и русинским... Никогда ранее в своей истории русины Восточной Словакии не отождествляли себя настолько сильно с русскими, как в конце Второй мировой войны и сразу после ее окончания” [32. S. 68].

После войны украинизация русинов Восточной Словакии осуществлялась на государственном уровне и была последовательной и всеобъемлющей. Она выразилась

в переводе русинских школ с русского на непривычный для местного населения украинский литературный язык обучения, в запрете самого термина “русин” как символа отсталости и реакционности, в ликвидации греко-католической церкви, отстаивавшей идею существования независимого русинского народа. Все это вскоре привело к массовой ассимиляции русинского населения. Не имея возможности оставаться русинами, местные жители решали дилемму “словак – украинец” чаще в пользу словацкой идентичности, не желая принимать навязываемое властями украинство. Если в 1931 г. в Восточной Словакии официально насчитывалось 91 тыс. русинов, то к 1961 г. количество тех, кто определял себя как украинец, упало до 35 тыс. Таким образом, часть русинов приняла украинскую идентификацию, однако большая часть предпочла стать словаками. Но уже во время “Пражской весны” 1968 г. восточно-словацкие русины доказали свою жизнеспособность, заявив о себе именно как о русинах и добившись права использовать свой диалект в официальной сфере. Чехословацкие власти пошли на легализацию самого этнонима “русин”, который стал использоваться наряду с этнонимом “украинец”. В полной мере процесс русинского возрождения развернулся после 1989 г. Современное русинское движение развивается как органичное продолжение тех процессов, которые были искусственно заморожены после 1945 г.

Происходящее в настоящее время возрождение русинского движения в Восточной Словакии и Закарпатской Украине опирается на традиционную идею об особости русинов и отрицает теорию о том, что русины – лишь этнографическая разновидность украинцев. Как и в межвоенный период, отношения между русинами и украинцами в Восточной Словакии отличаются конфронтационностью и полемическим накалом. Украинские радикалы не признают русинов в качестве отдельного народа и нередко пытаются представить русинское движение в качестве искусственно созданного образования, вымысла враждебных Украине политических сил, результата антиукраинской деятельности российских спецслужб. Подобный подход является продолжением печальной традиции, когда отрицались любые естественные предпосылки русинской культурно-языковой особости, а сами русины объявлялись несуществующим народом, этакой “выдумкой” неких враждебных политических сил или государств.

Завершение кодификации русинских диалектов в Восточной Словакии, отмеченное на торжественной церемонии в Братиславе в январе 1995 г., и результаты III Всемирного конгресса русинов в Руском Керестуре (Югославия) в мае 1995 г. свидетельствуют об устойчивости русинского национального движения. Становление нового восточнославянского народа с особой культурой, языком и системой ценностей происходит буквально на наших глазах. В случае успешного завершения этого процесса современная граница между Словакией и Украиной разделит территорию компактного проживания русинского народа. Вопрос о том, захотят ли в будущем представители русинов иметь собственную государственность, в большой степени зависит от способности молодых независимых государств – Словакии и Украины – удовлетворять культурные и иные потребности нового славянского народа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Paukovič V.* Etnická štruktúra Slovenska, jej vývoj, demografické a socialné charakteristiky // Sociologia. Časopis Sociologického ústavu Slovenskej Akadémie Vied. Bratislava. 1994. Ročník 26.
2. *Rusyn.* 1991. Č. 2.
3. *Шеленець Й.* Сенс історії культури південнокарпатських українців // Октябрь a ukrajinská kultura. Prešov, 1968.
4. *Hatalak P.* Jak vznikla myšlenka připojití Podkarpatskou Rus k československu. Užhorod, 1935.
5. *Raušer A.* Připojení Podkarpatské Rusi k československé Republice // Podkarpatská Rus. Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání Podkarpatské Rusi. Bratislava, 1936.
6. *Chmelař J.* Politické poměry v Podkarpatské Rusi // Podkarpatská Rus. Obraz poměrů přírodních, hospodářských, politických, církevních, jazykových a osvětových. Praha, 1923.

7. Ústava československé Republiky. Praha, 1921.
8. Slovenský Deník.
9. *Mágoosi P.R.* The Rusyns-Ukrainians of Czechoslovakia. A Historical Survey. Wien, 1983.
10. *Tejchmanová S.* Dokument o ukrajinské emigraci v meziválečném československu // Slovanský Přehled. 1992. № 2.
11. *Кміцікевич Я.* 1919 рік на Закарпатті. Спогад // Науковий збірник музею української культури в Свиднику. 1969. № 4.
12. Карпатский Свет.
13. Народная Газета. 1925. 3.
14. *Birčak V.* Dnešní stav podkarpatské literatury // Podkarpatská Rus. Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání. Bratislava, 1936.
15. *Sabov E.* Literární jazyk Podkarpatské Rusi. B: Podkarpatská Rus. Obraz poměrů p̣řirodních, hospodářských, politických, církevních, jazykových a osvětových, Praha, 1923.
16. *Vajcura I.* Ukrajinská otázka v ČSSR. 1967.
17. Русское Слово.
18. *Рудловчак О.* Літературні стремління українців Східної Словаччини у 20–30 роках нашого століття // Октябрь a ukrajinská kultura. Prešov, 1968.
19. Слово Народа. 1932. № 5.
20. *Штець М.* Боротьба за літературну мову українців Східної Словаччини у 1919–1945 pp. // Октябрь a ukrajinská kultura. Prešov, 1968.
21. Státní ústřední Archiv v Praze, inv. č. 588, sign. 223, Fond Předsednictva Ministerské Rady (PMR), kart. č. 131, Jazyková otázka na Podkarpatské Rusi 1920–1938.
22. *Волошин А.* Две политичне розмовы. Ужгород, 1923.
23. *Nedzelskij E.* Spolek A.V. Duchnovyče, Pankevych I. Spolek "Prosvita" v Užhorodě // Podkarpatská Rus. Sborník hospodářského, kulturního a politického poznání Podkarpatské Rusi. Bratislava, 1936.
24. Soznam miest na Slovensku d'ľa popisu ľudu z r.1919. Bratislava, 1919.
25. Čas.
26. Státní ústřední Archiv v Praze, inv.č.654, sign.294, fond PMR, kart.č.150, úprava národních a politických poměrů na Rusi a Slovensku.
27. Státní ústřední Archiv v Praze, inv. č. 588, sign.223, fond PMR, kart. č. 131, Jazyková otázka na Podkarpatské Rusi 1920–1938.
28. Národní Listy.
29. Venkov.
30. *Ковач А.* Українці Пряцівщини і деякі питання культурної політики Словацької республіки // Октябрь a ukrajinská kultura. Prešov, 1968.
31. Lidové Noviny.
32. *Ludovit H.* Rusinská identita a emancipácia na Východnom Slovensku // Střední Evropa a Podkarpatská Rus. Edice statí, reportáží, vzpomínek a dokumentů. Praha, 1997. Sv. 16.



© 2003 г. В. В. МАРЬИНА

ВЫСЕЛЕНИЕ НЕМЦЕВ ИЗ ЧЕХОСЛОВАКИИ: ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ. 1944–1946 ГОДЫ

Немцы, проживавшие в Чехословакии, прежде всего в Судетской области, сыграли роль своеобразного “тройного коня” в планах Гитлера ликвидировать республику. Сразу после марта 1939 г. в чешском некоммунистическом движении Сопротивления родилась мысль о выселении после войны немецкого населения из ЧСР. Находившийся в эмиграции президент Э. Бенеш, который возглавил борьбу за восстановление страны в домюнхенских границах, поддержал эту идею, намереваясь возродить республику как государство трех славянских народов – чехов, словаков и подкарпатских украинцев. Началась разработка и обсуждение планов выселения, именуемого трансфером. Необходимость его проведения мотивировалась коллективной виной немецкого населения за расчленение Чехословакии и добровольную поддержку нацистской Германии. Бенеш понимал, что без поддержки союзников по антигитлеровской коалиции такую акцию реализовать не удастся. Вопрос постепенно стал приобретать международный характер. Англичане и американцы сначала в принципе не возражали против выселения, но затем, ознакомившись поближе с конкретными чехословацкими предложениями, стали проявлять известную осторожность, ссылаясь на неготовность западного общественного мнения к такому решению вопроса и опасаясь чрезмерного укрепления советского влияния в Чехословакии. Советский Союз с самого начала в принципе не возражал против выселения немцев (см. подробнее [1]).

Весной 1944 г. Красная Армия приблизилась к довоенным границам ЧСР. Перед чехословацким правительством встали новые первоочередной важности задачи: организация управления освобожденными чехословацкими территориями, получение окончательного согласия союзников на восстановление ЧСР в ее домюнхенских границах, переезд правительства на освобожденную территорию, а также проблемы, связанные со Словацким национальным восстанием и событиями в Подкарпатской Руси осенью 1944 г., и др. Вопрос о судьбе “чехословацких” немцев, казалось, в принципе уже решенный, как бы отодвинулся на второй план. Тем не менее правительственные чиновники продолжали работу по совершенствованию алгоритма выселения немецкого населения из ЧСР. В частности, в мае 1944 г. обширный “Проект решения вопроса о меньшинствах в ЧСР” был подготовлен Я. Цисаржем, сотрудником аналитического отдела Министерства иностранных дел [2. С. 272–278, 288–293]. Э. Бенеш продолжал поддерживать связи с родиной, сообщая о состоянии решения того или иного важного для будущей ЧСР вопроса. 15 мая он направил пространную

Марьина Валентина Владимировна – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 01-01-00280а.

радиотелеграмму своим сторонникам, в которой говорилось и о выселении немцев. “По вопросу наших немцев мы выжидаем, – значилось в депеше. – Каждый знает и признаёт, что исторические границы, по крайней мере в главных чертах, мы должны сохранить. Здесь и в других местах достаточную поддержку находит принцип переселения меньшинств. Но известно, что три миллиона немцев переселить нельзя, и что, таким образом, у нас снова будут немцы, хотя их будет явно меньше. Известно также, что старые договоры, касающиеся немецкого и венгерского меньшинств, не оправдали себя и не могут быть возобновлены. Это, таким образом, пока все больше негативное. Я работаю с англичанами, американцами и русскими над тем, чтобы из этого всего создать также позитивную программу. Я буду своевременно информировать Вас о всех этих вопросах” [3. S. 130–131].

Между тем в Лондон продолжали поступать сообщения о радикальных настроениях чехов по отношению к немецкому населению и требованиях выселения всех немцев. “Ненависть к немцам страшная, поскольку ни в городах, ни в деревнях нет почти ни одной семьи, которая не потеряла бы кого-либо из своих членов либо в результате казни, либо в результате заключения в концентрационные лагеря. За ножи хватаются как буржуазия, так и рабочие. Особенно среди наших военных страшное негодование: немцев – вон, всех до единого... Нет лояльных немцев, все одинаковы, и в лучшем случае из детей лояльных немцев опять вырастут пангерманисты”, – говорилось в одном из сообщений из Праги в июле 1944 г. В другом значилось: “Наш опыт свидетельствует против принятия в этом половинчатого решения... Лояльных немцев народ здесь может представить лишь как гостей, но ни в коем случае как компактные национальные группы в государстве”. Подобные настроения фиксировались и в августе: “Антинемецкие настроения превратились в ненависть... Преобладает мнение, что немцы должны быть выселены, а республика станет национальным государством, без немцев как политических деятелей”. В сентябре стали поступать сведения о вооружении гражданского населения Судетской области в целях ведения партизанской борьбы в случае поражения нацистской Германии [2. S. 279, 281, 293]. В Лондоне не могли не учитывать этих настроений в стране.

В конце сентября 1944 г. Министерство внутренних дел чехословацкого правительства в сотрудничестве с аналитическим отделом Министерства иностранных дел разработало проект декрета президента о лишении чехословацкого гражданства. В нем намечалось лишить гражданства всех немцев и венгров, за исключением тех, “кто остался верен Чехословацкой республике и активно участвовал в борьбе за ее освобождение”. Однако проект декрета, обсужденный и одобренный в начале ноября 1944 г. правительством, не получил заключения Государственного совета и не был подписан президентом. Бенеш пока не мог это сделать в виду уклончивой позиции союзников по вопросу о трансфере немецкого населения [2. S. 294–296].

В конце ноября чехословацкое правительство разработало и передало английскому, американскому и советскому правительствам обширный меморандум по вопросу о трансфере [2. S. 303–308]. 27 ноября 1944 г. состоялась встреча А. Идена с Э. Бенешем, Я. Масариком и Г. Рипкой, на которой обсуждались проблемы будущих чехословацких границ и трансфера. Иден не возражал против того, что ЧСР должна избавиться от как можно большего числа немцев, оставив их у себя не более 800 тыс. На вопрос Рипки, не будет ли Иден иметь в связи с этим каких-либо трудностей в правительстве и парламенте, английский министр иностранных дел ответил, что “больших трудностей не ожидает”. Была достигнута договоренность о том, что следует выработать такую формулу, которая может быть использована при трансфере немцев из Польши, а также из других государств [2. S. 309–311]. Примерно то же самое говорилось и во время обеда Рипки с Ф.Б. Николсом 13 декабря 1944 г. При этом посол заметил, что “выселение следует провести быстро, самое большое в течение двух лет после заключения перемирия, потому что потом опять снова в британской общественности поднимутся симпатии к “несчастливым” немцам”. Далее он советовал постепенно “чехизировать” немцев, которые останутся в ЧСР, “чтобы

вопрос о немецком меньшинстве был окончательно решен и снят с повестки дня” [2. S. 312]. 21 декабря 1944 г. Рипка беседовал с советским послом в Великобритании Ф.Т. Гусевым и советником-посланником А.А. Соболевым, излагая им доводы, почему трансфер должен быть проведен сразу после капитуляции Германии и в возможно более короткие сроки. Посол согласился и, по словам Рипки, сказал, что “советское правительство уже во время визита президента в Москву определенно высказалось за трансфер немцев из Чехословакии. Со стороны советского правительства, добавил он, мы можем рассчитывать на полную и действенную поддержку в этом вопросе” [4. Ф. 0138. Оп. 29. П. 147. Д. 14. Л. 55–57; 5. D. 2. S. 387–390; 6].

3 января 1945 г. поверенный в делах СССР в Великобритании И.А. Чичаев направил заместителю наркома иностранных дел СССР А.Я. Вышинскому вышеупомянутый меморандум чехословацкого правительства по проблемам немецкого меньшинства, подписанный Рипкой. Передается “для сведения правительства СССР”, – значилось в сопроводительном письме. Далее следовало кратко содержание меморандума: “Это решение предусматривает перемещение приблизительно двух третей немцев из республики путем добровольного или организованного переселения, а также создание условий, которые способствовали бы постепенному слиянию оставшегося меньшинства с остальным чехословацким населением, чтобы создать политическое и культурное единство. Этот план основан на следующих трех предложениях: а) правительства Объединенных Наций, которые самым непосредственным образом заинтересованы в сохранении мира в Европе, разделяют желание чехословацкого правительства раз и навсегда положить конец очень беспокойной и опасной проблеме, опасной с точки зрения как чехословацкой, так и общеевропейской безопасности; б) решение этой проблемы не должно повлечь за собой каких-либо соглашений, нарушающих территориальную целостность Чехословацкой республики в рамках ее домюнхенских границ; в) условия, предъявленные Германии после ее поражения, обяжут последнюю принять в страну в качестве граждан всех немцев, переселенных из Чехословакии, и найти для них убежище на германской земле, а союзные оккупационные власти в Германии проследят, чтобы Германия соответствующим образом выполняла свои обязательства в этом отношении”. В конце содержалась просьба передать меморандум советскому правительству и “сообщить его мнение по этому вопросу, имеющему такое большое значение для Чехословакии” [4. Ф. 0138. Оп. 26. П. 134. Д. 24. Л. 21–22]. Далее следовали текст меморандума в переводе с английского на русский язык и резюме, а также текст меморандума на английском языке [4. Ф. 0138. Оп. 26. П. 134. Д. 24. Л. 25–38, 50–73].

Помимо этого, документ сопровождался двумя приложениями, первое из которых было озаглавлено “Пангерманизм немцев в Чехословакии” и представляло собой справку исторического характера, а второе называлось “Обсуждение существующих аргументов против насильственного перемещения”. Эти приложения, очевидно, были тоже выработаны чехословацким Министерством иностранных дел и составлены на основании тех дискуссий, которые велись по этим вопросам в чехословацких эмигрантских и, вероятно, в английских политических кругах.

Остановимся на последнем документе несколько подробнее, поскольку он содержал доводы, как “за”, так и “против” переселения немцев. *Первый контраргумент*: метод принудительного перемещения является бесчеловечным и насильственным и напоминает о нацизме. **Ответ**: возражение несостоятельно: забывается, что массовая эмиграция, которая является лишь формой принудительного перемещения, если она стала результатом экономической необходимости, всегда была обычным явлением современного человечества. Далее указывалось, что а) это перемещение не должно быть обязательно бесчеловечным, имеются другие формы, чем те, которые избрал Гитлер; б) неизбежная мера неудобств, трудностей, страданий ограничена временем и может быть даже сокращена до минимума эффективной организацией. “Если мы допустим, что сохранение меньшинства может стать причиной, или по крайней мере предлогом, для международных конфликтов, это будет лишь незначительной ценой

одного поколения, одного меньшинства за несравненно большие страдания будущих поколений, целых наций или даже континента или всего человечества”; в) никто не считает особенно бесчеловечным, когда экономические условия вынуждают словацких, карпатских или далматских крестьян эмигрировать в Австралию или в Южную Америку. Тем не менее, люди возмущаются судьбой немцев, которые перемещаются в окружение (среду. – *В.М.*), дружественное по отношению к ним и в основном не отличающееся от того, в котором они жили, более того, окружение, которое гарантирует им полную защиту политической и культурной идентичности, так высоко ценимую ими; г) в конце концов, потомки перемещенного меньшинства будут, возможно, счастливы среди народа своей национальности в стране, в которой они не чувствуют себя и их не считают беспокойными иностранцами; д) перемещение населения может привести, как это было на примере Греции и Турции, к установлению более дружественных отношений между соседними государствами.

Второй контраргумент: этот метод не предусматривает, куда будут перемещены миллионы немцев. **Ответ:** можно надеяться, что до окончания войны в Германии будет достаточно свободного места, на которое можно без особых трудностей поселить многие миллионы немцев из соседних стран (имелись в виду потери во время войны. – *В.М.*).

Третий контраргумент: в том случае, когда число лиц отдельного меньшинства составляет миллионы, перемещение представляет проблему, технически почти неразрешимую. **Ответ:** технические трудности, проблемы транспорта, помещения и окончательного поселения не являются неразрешимыми и должны быть преодолены, как и другие трудности, которые возникнут в связи с репатриацией тех миллионов, которых немцы насильно согнали из различных европейских стран в концентрационные лагеря или для принудительного труда в Германию и другие оккупированные страны.

Четвертый контраргумент: насильственное перемещение не делает различия между виновными, менее виновными и невиновными. Оно наказывает даже тех членов меньшинства, которые оставались лояльными демократии и были против нацизма. Более того, было бы несправедливо изгнать немцев и не изгнать квислингов, которые оказались в рядах основной нации. **Ответ:** это возражение было бы действительным лишь в случае тотального, дискриминационного перемещения, когда было бы невозможно оправдать какое-либо предположение, которое не принимает во внимание тех членов данного меньшинства, которые боролись или страдали за Чехословацкое государство, доказав таким образом свою преданность и свое несогласие с теми, кто требует присоединения к рейху. Но никто не намеревается перемещать таких преданных элементов.

Пятый контраргумент: вывоз большого числа квалифицированных рабочих необходимо приведет к серьезному экономическому ослаблению страны. Это представит особо большие трудности в первые послевоенные годы, когда должно будет производиться перемещение и когда недостаток человеческих ресурсов будет наиболее срочной проблемой. **Ответ:** несмотря на понимание этого, Чехословакия готова принести подобную жертву в интересах ее собственной и общеевропейской безопасности. Однако будут предприняты все меры к тому, чтобы минимально сократить неблагоприятное влияние перемещения на экономику. Проведенное соответствующим образом, оно не приведет к экономическому ослаблению государства. В некоторых отношениях оно может оказаться даже оздоровительным для экономики страны, в частности, для решения проблемы избытка сельскохозяйственного населения в восточных частях республики.

Шестой контраргумент: перемещение не дает гарантии, что государство, очищенное таким образом, сохраняет свой единый характер. Если быть последовательным, то надо запретить свободное движение народов в Европе на все будущие времена. **Ответ:** это является большим преувеличением действительного положения. Вполне возможно сохранение единого характера “очищенного” государства без запрещения движения, если факт перемещения не предусматривает создание особых прав для эмигранта. Немецкий рабочий, инженер или деловой человек может при-

ехать как гость, пользующийся правами, предоставленными иностранцам во всем мире, или как эмигрант, который желает присоединиться к народу, в среде которого он устраивает свой новый дом. Ни в том, ни в другом случае он не может требовать для себя каких-либо особых прав национального меньшинства или пытаться создать этнографическое или лингвистическое меньшинство. С чехословаком или поляком, требующим подобное по прибытии в Германию, вероятно, разделались бы очень быстро [4. Ф. 0138. Оп. 26. П. 134. Д. 24. Л. 39–49].

С приближением конца войны на Западе дискуссии о трансфере, видимо, приобрели особенно острый характер, о чем и свидетельствовали приведенные документы. Это не могло не сказаться на позициях западных правительств, предпочитавших пока явную сдержанность в подобных вопросах. Кроме того, с одной стороны, приветствуемое, а с другой – пугающее победное продвижение Красной Армии по европейским странам, заставляло Запад более пристально взглянуть на проблему трансфера, рассматривая ее в контексте послевоенного мирного урегулирования и своих национальных интересов. 15 января в Москве состоялась встреча В.М. Молотова с послом США в СССР А. Гарриманом и советником-посланником британского правительства в СССР Дж. Бальфуром, на которой обсуждались вопросы, связанные с заключением перемирия с Венгрией. На встречу был приглашен и чехословацкий посол в Москве З. Фирлингер. Помимо прочего, речь шла об обмене населением между Чехословакией и Венгрией, а также вообще о трансфере. Согласно телеграмме, отправленной Фирлингером в Лондон 16 января, Молотов высказался за то, чтобы были приняты чехословацкие предложения по этому вопросу и чтобы союзники обратили не него серьезное внимание. Гарриман решительно протестовал против всего, что “хотя бы отдаленно было похоже на обмен населением”. Бальфур считал необходимым отложить решение вопроса “до мирных переговоров” [7. S. 544–545]. На следующий день он направил Молотову письмо и меморандум чехословацкого правительства, полученный английским посольством. Суть послания состояла в следующем: предложения чехословацкого правительства связаны со многими другими аспектами послевоенного урегулирования с Германией, по которым окончательное решение еще не принято. Правительство Великобритании не считает возможным высказывать какие-либо замечания до тех пор, пока оно не обсудит эти вопросы со своими главными союзниками. “Британское правительство должно пока зарезервировать свою позицию в отношении предложения чехословацкого правительства” [4. Ф. 0138. Оп. 26. П. 132. Д. 10. Л. 21]. Письмо было разослано также И.В. Сталину, К.Е. Ворошилову, Л.П. Берии, Г.М. Маленкову, А.Я. Вышинскому, В.Г. Деканозову. 18 января Бальфур направил его копию также Фирлингеру, о чем тот немедленно информировал свое правительство. Рипка срочно встретился с Николсом, настаивая, чтобы “хотя бы в какой-нибудь форме был принят принцип трансфера”. Кроме того, он подчеркнул, что “только СССР с пониманием относится к нашим интересам и поддерживает нас”. Рипка информировал об этом также американское посольство в Лондоне и просил поддержать чехословацкие требования [7. S. 546–547].

В конце января 1945 г. англичане и американцы все же ответили на вышеупомянутый меморандум чехословацкого правительства, не выдвинув никаких принципиальных возражений против трансфера, но указав на связь этого вопроса со многими другими европейскими проблемами и призвав чехословацкое правительство подождать с выселением до тех пор, пока не будет получено на это официальное согласие союзников [2. S. 308]. Было ясно, что Форин Оффис намерен пока попридержать “карту трансфера”, надеясь разыграть ее в подходящий момент. Красная Армия в это время вела бои на территории Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, и было ясно, что эти страны окажутся в сфере преобладающего влияния СССР. Что касается Чехословакии, то после поездки Бенеша в Москву и заключения союзнического советско-чехословацкого договора такая перспектива вырисовывалась довольно четко. У. Черчилль, с одной стороны, благодарил Сталина за масштабное наступление советских войск в середине января 1945 г., которое позволило стабилизировать положение на западном фронте, с другой – во время встречи с Т. Рузвель-

том на Мальте в конце того же месяца говорил о нежелательности, чтобы “русские оккупировали в Западной Европе больше, чем это необходимо” [8. С. 476]. В сложившихся условиях вопрос о выселении немцев стал рассматриваться западными державами, и прежде всего Великобританией, как возможная сильная карта в большой политической игре за сохранение своего влияния в Центральной и Юго-Восточной Европе, особенно в Польше и Чехословакии.

Заинтересованная в как можно более скором и определенном решении вопроса о выселении немцев чехословацкая сторона добивалась, чтобы он нашел отражение в документах о капитуляции Германии, которые начали подготавливаться Европейской консультативной комиссией с конца 1944 г. для Ялтинской конференции глав СССР, США и Великобритании. На встрече в Крыму 4–11 февраля 1945 г. вопрос о переселении немцев хотя и поднимался, но не обсуждался подробно, поскольку, дескать, западное общественное мнение не готово пока воспринять эту мысль. Кроме того, в это время еще не было полной ясности и в том, будет ли существовать Германия как единое государство: западные державы настаивали на ее расчленении [8. С. 480–482]. Решения Ялтинской конференции носили компромиссный характер, но были выгодны менее Западу, чем СССР, международный авторитет которого значительно возрос.

Вопрос о переселении немцев остался открытым, и во время двух встреч (13 и 20 февраля 1945 г.) Николс сообщил Бенешу, что у него пока нет “точной формулы” относительно чехословацких границ и трансфера и что в Форин Оффис идут дискуссии по этим проблемам. Вместе с тем он предупредил президента о необходимости быть осторожным в указанных вопросах, поскольку их решение будет “крайне сложным”. Бенеш настаивал на необходимости “ясной и окончательной формулы”, базирующейся на: а) принципиальном признании трансфера, б) лишении всех немцев чехословацкого гражданства, в) создании органа, занимающегося переселением. Все это, по мнению президента, было нужно, чтобы чехословацкое правительство могло принять соответствующий “закон”. После выяснения этого вопроса в Форин Оффис Николс настоятельно просил, чтобы “без согласия с союзниками (великими державами) такой закон не принимался”. Когда Бенеш объяснил ему, что отсутствие закона может повлечь за собой “резню немцев”, Николс рекомендовал заявить эти три пункта в качестве программы правительства, но, прежде чем начать действовать, договориться окончательно с союзниками о способах и масштабах выселения. Бенеш, согласно его записи о беседах, отвергал подобное решение: “Я говорил об этом снова при прощании с Иденом, а затем с Черчиллем, но они оба были уже обработаны Форин Оффис в этом смысле и говорили также неопределенно, необязательно, и что это возможно только как программа и ничего более” [9. D. 2. S. 749–750].

В конце февраля было уже принято окончательное решение о переезде Бенеша на родину, куда он собирался отправиться через Москву. Поэтому президент заявил Николсу, что будет вести переговоры и, возможно, согласует вопрос прямо с Москвой, после чего “мы проведем это сами”. По словам Бенеша, Иден и Черчилль заявили ему, что “во время переговоров в Кремле¹. Сталин сказал, что это дело, скорее всего,

¹ 9–18 октября 1944 г. Черчилль и Иден находились в Москве, где вели переговоры с советским руководством. Именно тогда была достигнута, как теперь известно, негласная договоренность о разделе сфер влияния в Центральной и Юго-Восточной Европе. Помимо прочего, это подтверждает, например, разговор чиновника чехословацкого Министерства иностранных дел Шимукека с сотрудником военного министерства Англии, который сказал: «Я убежден, что на московской конференции Черчилль договорился со Сталиным о послевоенных “сферах влияния”. Россия хочет получить ряд государств (сателлитов) с правительством народного фронта, которые находились бы под прямым влиянием Москвы. Это были бы Болгария, Румыния, Югославия, Чехословакия, Венгрия, Польша и Австрия. Англия же опять имела бы свободные руки в Бельгии, Голландии, Испании, Италии, Греции и Турции (но не во Франции). Россия пыталась получить также Македонию (Солоники), но в этом случае мы остались непреклонны, и Греция выиграла битву за Солоники» [5. S. 329].

не станет предметом переговоров, поскольку немцы из Польши сами бегут или убегут, и что, таким образом, это не займет много времени”. Бенеш, согласно его записи, подчеркнул, что “у нас этого, вероятно, не произойдет и что нам, в конце концов, это дорого бы обошлось. Мы, таким образом, должны настаивать на том, чтобы с нами весь этот вопрос был окончательно, ясно и точно согласован. (Обратить внимание, не означают ли эти действия Великобритании начало отступления!)” [9. D. 2. S. 749–750].

23 февраля 1945 г. чиновник чехословацкого Министерства иностранных дел зафиксировал позицию Форин Оффис в отношении чехословацких требований по вопросу о границах и трансфере. Его собеседник с английской стороны заявил: “В Ялте мы проиграли по всем пунктам”. Форин Оффис дал прямое указание не поддерживать чехословацкие требования при заключении перемирия с Венгрией, поскольку в последние месяцы чехословацкие позиции по отношению к Форин Оффис стали “холодно негативными” и поскольку “мы (чехословацкое правительство. – *В.М.*) своим излишним сотрудничеством с СССР вызываем недоверие. Таким образом, на отношении к нам сказывается недовольство чересчур сильными позициями Сталина”. На вопрос: “Не идет ли речь о наказании (нас. – *В.М.*), как школьников?” – собеседник ответил: “Нет, лишь об общем недоверии. Отношение к нам не изменится, пока не исчезнет настроение неопределенности, вызванное чрезмерной силой СССР”. Требование трансфера чиновник британского Министерства иностранных дел охарактеризовал как “империализм малого государства” и сказал: “Это решение, которое не обеспечит европейский мир. Кто должен немцев кормить, кто должен о них заботиться?” [2. S. 318]. Таким образом, Англия в целях оказания политического нажима на чехословацкое правительство заняла сдержанную, если не сказать больше, позицию в решении жизненно важных для Чехословакии в тот период вопросов.

Это подтвердилось, по сути, и во время последней встречи Бенеша с Черчиллем 24 февраля 1945 г. (т.е. незадолго до отъезда президента из Англии), когда английский премьер пригласил его на обед. Разговор касался многих вопросов, в том числе намерений СССР. Черчилль, по словам Бенеша, подчеркнул веру в то, “что русские останутся в пределах своих сил и возможностей” и, “если их перейдут, то натолкнутся на англичан и американцев”, “за будущее Европы он не ручается, только англичане опять устоят, даже если бы русские все забрали и дошли бы на территории Франции до Атлантического океана”. “Мы расстались весьма по-дружески, – записал Бенеш. – Еще перед уходом (явно по настоянию Идена) он рекомендовал, чтобы мы сами, без согласия с великими державами, не решали вопрос о трансфере, мы должны, дескать, договориться с Великобританией и двумя другими и только затем окончательно решение провести. Мне показалось, что он хотел как бы отказаться от трансфера, (хотя. – *В.М.*) это не было сказано буквально, казалось также, что он лишь повторяет то, что ему сказали, но мне это не понравилось” [9. D. 2. S. 750–751].

С такими впечатлениями о позициях Англии Бенеш и отбыл в Москву, надеясь получить здесь полную поддержку своих планов. Между тем из оккупированной Чехии по-прежнему поступала информация о радикальных настроениях населения в отношении судетских немцев: они “должны быть уничтожены и изгнаны. Когда говорят, что такое решение непрактично, народ обычно приходит в ярость” [4. Ф. 0138. Оп. 26. П. 134. Д. 25. Л. 79], – говорилось в одном из сообщений, полученных в марте 1945 г., и это поддерживало решимость президента добиваться осуществления своих замыслов при поддержке Кремля. Среди десяти вопросов, которые он намеревался обсудить с советскими лидерами, на первом месте значился вопрос о границах с Германией, Венгрией и Польшей, а на втором – о трансфере из Чехословакии немецкого и венгерского населения [4. Ф. 0138. Оп. 26. П. 132. Д. 10. Л. 43].

Было бы неверно утверждать, что Бенеш “переметнулся” на сторону Москвы, как это иногда делают его современные критики. Он был искусственным и искусным политиком-прагматиком, который, как мог и как считал в тех конкретных условиях правильным, отстаивал на международной арене национальные интересы своей страны. К тому же его вера в обещания Сталина, усилившаяся после визита в Моск-

ву в декабре 1943 г., теперь была подорвана событиями в Подкарпатской Руси осенью 1944 г. и явными намерениями Кремля поддержать там сепаратистское движение, направленное на немедленное присоединение этой области к СССР (УССР) (подробнее см.: [10]). Никаких иллюзий относительно Сталина у Бенеша уже не было. Об этом, в частности, свидетельствует запись в дневнике его секретаря Е. Таборского, сделанная 13 февраля 1945 г. и касающаяся мнения президента об итогах Ялтинской конференции: “Если бы это было так в действительности, если бы только половина этих обещаний была выполнена, то было бы все в порядке. Но коммунисты никогда таких обещаний не выполняют, разве что их принудит к этому решительность западных держав. Они выполняют их лишь тогда, когда увидят, что их невыполнением могли бы потерять больше, чем получили бы (выполнив. – *В.М.*). Я хорошо понимаю, почему Рузвельт и Черчилль придают такое большое значение тому, чтобы получить от Сталина буквальное обещание, что Советы будут придерживаться принципов Атлантической Хартии. Они получают тем самым ясное обязательство Сталина не вмешиваться во внутренние дела стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Но я надеюсь, что они теперь уже понимают, что все зависит не от слов, а от дел; и что проследят за тем, чтобы Сталин эти обещания хотя бы в основном выполнил. Решительная твердость и эффективная реакция на каждое нарушение обещаний – это единственно правильная англо-американская политика в отношении России. И западные союзники теперь это уже могут себе позволить, поскольку война сегодня уже практически выиграна. Я, однако, опасаюсь, что ни англичане, ни американцы еще не готовы к тому, чтобы справиться с этой суровой реальностью. Они будут говорить о демократии, в то время как коммунисты станут им сворачивать шею, где только смогут” [5. D. 2. S. 488]. Думается, Бенеш, хотя и надеялся на поддержку Кремля в ряде важных вопросов, все же был готов к тому, что и его “шея пострадает”.

Уже тогда, когда Бенеш был в Москве, 20 марта 1945 г., Рипка беседовал по вопросу о трансфере с Ф.Т. Гусевым и высоким чиновником Форин Оффис У. Стрэнгом. Советский посол заявил, что во время предыдущего посещения Бенешем Москвы “Сталин ясно высказался за принцип трансфера”. Гусев сам полагает, телеграфировал Рипка Бенешу, что будет наиболее практичным, чтобы чехословацкое правительство уже во время освобождения страны договорилось с советскими военными органами о том, что и как надо делать с немцами, и в первую очередь с теми, которые появились в ЧСР после Мюнхена. Рипка снова повторил, что речь идет не только об этих немцах, а о выдворении примерно 2–2.5 млн. немцев, которые проживали в Чехословакии и с 1935 г. явно шли за Гитлером. “Чтобы трансфер такого числа мог быть проведен, необходимо, чтобы великие державы обязали Германию принять этих немцев на своей территории”, – сказал Рипка. Гусев выразил понимание, заявив, что великим державам нужно договориться по этому вопросу и что в Европейской консультативной комиссии (ЕКК. – *В.М.*) он будет поддерживать указанный тезис. Стрэнг же, по словам Рипки, “в вопросе о трансфере был крайне сдержан” [5. D. 2. S. 515–516].

Все намеченные Бенешем для обсуждения вопросы были затронуты во время его первой официальной беседы с Молотовым 21 марта 1945 г., на которой с чехословацкой стороны присутствовали Масарик и Фирлингер, а с советской – А.А. Вышинский и В.А. Зорин, только что назначенный послом СССР в ЧСР. Судя по записям Зорина, Бенеш излагал свои взгляды по каждой конкретной проблеме, а Молотов реагировал на это либо в форме уточняющего вопроса, либо короткой реплики. По вопросу о границах Бенеш напомнил, что он и чехословацкое правительство всегда определяли свои взгляды формулой “домюнхенские границы”. Далее Бенеш заявил, что за три дня до его отъезда из Лондона англичане письменно заявили о своем отношении к этому вопросу, “сделав шаг вперед”: “К моменту капитуляции Германии они согласны на передачу контроля чехословацкому правительству над территорией, входящей в домюнхенские границы”, т.е. на 31 декабря 1937 г. Президент отме-

тил также, что свою формулировку признания границ англичане намерены предложить для обсуждения в ЕКК в Лондоне, и обещал передать советскому правительству текст английского заявления по этому вопросу. Молотов спросил, “претендует ли Бенеш на какие-либо территории сверх границ 1937 г.”. Президент ответил, что “он имеет некоторые претензии в пограничной с Германией области”, но этой темы не развил и выразил надежду, что СССР окажет поддержку Чехословакии при обсуждении вопроса о границах в ЕКК [4. Ф. 06. Оп. 7. П. 51. Д. 833. Л. 1–9] (опубликовано в [11], см. также в [12]).

Далее Бенеш заявил о согласии англичан, с которыми он говорил год-полтора назад по этому “деликатному вопросу”, с необходимостью трансфера немцев и венгров из Чехословакии. Однако, по словам президента, англичане хотя и сообщили об этом официально, но лишь в устной форме и пока колеблются подтвердить это письменно. Их опасения сводятся к тому, что: а) это касается не только Чехословакии, но и Польши и затрагивает переселение в целом 7–8 млн немцев; б) неизвестно, в какой из четырех зон оккупации Германии могут быть расселены выселенные немцы. Бенеш опасался возможности гражданской войны в Чехословакии в случае отказа от трансфера немцев. Англичане, по словам президента, ожидают мнения советского правительства по этому вопросу и не считают его простым. Он сказал также, что в ЕКК в Лондоне этот вопрос уже неофициально обсуждался и что американцы не будут против выселения немцев.

Молотов заметил, что в принципе “отношение советского правительства к предложению выселения немцев положительное, но сейчас надо ставить вопрос практически, сколько и как надо выселять”, и что “по этому поводу хотелось бы иметь соображения Бенеша”. По расчетам президента, из Чехословакии необходимо было бы выселить не менее 2 млн. немцев, при этом в стране осталось бы 800 тыс.: “Вся немецкая буржуазия и интеллигенция, очевидно, уйдут, останутся рабочие, которые будут размещены среди чешского населения”. Что касается венгров, то, по словам Бенеша, из 600 тыс. имеющих в Чехословакии следовало выселить 400 тыс. Фирлингер заметил, что во время переговоров с Венгрией Молотов оказал в этом вопросе большую поддержку Чехословакии, на что Молотов отреагировал в том смысле, что хотя поддержка и была, но он “провалился” со своими предложениями. Бенеш отметил, что англичане “играли” с Чехословакией по этому вопросу, в частности, во время переговоров с Венгрией в Москве: они информировали, что послу Великобритании в СССР А. Керру посланы инструкции поддержать чехословаков и их предложения, на самом же деле такие инструкции направлены не были. На этом обмен мнениями по указанному вопросу закончился. Запись этой части беседы, сделанная Фирлингером, по сути не отличалась от советской [5. D. 2. S. 506]. Во время последующих встреч Бенеша с советскими руководителями о трансфере больше не говорилось. В памятной записке о переговорах с Бенешем 21 марта, подготовленной Зориным и завизированной Молотовым 28 марта, значилось: “Переселение из Чехословакии немецкого и венгерского населения. Советское правительство принципиально высказывается за такое переселение, однако свои конкретные соображения может изложить по получении от чехословацкого правительства плана указанного переселения” [4. Ф. 07. Оп. 10. П. 37. Д. 497. Л. 85].

Одной из задач, стоявших перед Бенешем во время его пребывания в Москве, было формирование чехословацкого правительства, которое начало бы действовать на освобожденной территории, и выработка его программы. Проект такой программы, предложенный коммунистами, обсуждался 22–24 марта 1945 г. на ряде встреч представителей Загранбюро КПЧ и прибывших из Лондона представителей политических партий. Раздел, касавшийся выселения немцев и венгров, не вызвал серьезных замечаний. В. Майер (социал-демократ) заметил, что в документах по этому вопросу, разработанных ранее в Лондоне, прямо говорилось о трансфере, а в проекте этот термин не упоминается, и “это разумнее”. Я. Странский (Национально-социалистическая партия) отметил, что иностранные правительства, получившие

чехословацкий меморандум о трансфере, дали на него “сухой” ответ. «Западные державы, – сказал Готвальд, – трансфер уже отвергли. На переговорах о перемирии с Венгрией Бальфур и Гарриман отказались включить трансфер в условия перемирия, Молотов был “за”. Большую помощь нам окажет Красная Армия. Однако все будет зависеть от того, как пойдут военные действия». На вопрос Странского, “как мы будем формулировать вину немецких крестьян”, Готвальд ответил: “Все это произойдет без долгих церемоний”. Странский сказал: “Согласен”. С небольшими поправками раздел был одобрен [13. С. 418–419].

В первой программе Национального фронта чехов и словаков, так называемой Кошицкой правительственной программе, прямо о трансфере и о числе немцев и венгров, которые должны были покинуть Чехословакию, не говорилось, с учетом сдержанной позиции англичан и американцев в этом вопросе. Излагались лишь принципы, подходы к решению вопроса. Правительство намеревалось придерживаться следующих правил: чехословацкое гражданство будет подтверждено и возвращение в страну гарантировано антинацистам и антифашистам, которые еще до Мюнхена вели борьбу против Генлейна и венгерских ирредентистских партий и за это после расчленения Чехословакии попали в тюрьмы, концентрационные лагеря или же вынуждены были эмигрировать и вести за границей борьбу за восстановление ЧСР. Остальные лица немецкой и венгерской национальности будут лишены чехословацкого гражданства, если оно имелося у них ранее. Просьбы об оптации должны рассматриваться властями в индивидуальном порядке. Те немцы и венгры, которые будут осуждены за преступления против республики, будут выдворены за ее пределы навсегда, если против них не будет заведено уголовное дело. Немцы и венгры, которые прибыли на территорию Чехословакии после Мюнхена, будут выдворены немедленно, если не подлежат уголовному преследованию. Исключение составляют лица, которые действовали в интересах Чехословакии [14. С. 37–38].

Таким образом, выселение немцев и венгров поддержали все политические силы, которые были представлены в Национальном фронте чехов и словаков, взявшем на себя ответственность за организацию жизни в освобожденной стране. В Кошицкой программе, по сути, были отражены два из трех пунктов, о которых говорилось в вышеупомянутом меморандуме чехословацкого правительства и которые англичане рекомендовали включить в программу, т.е. о принципиальном проведении трансфера и о лишении всех немцев чехословацкого гражданства. О создании органа, занимающегося переселением, в программе не упоминалось. Возможно, это было связано с надеждами на то, что практически выселение удастся провести с помощью советских военных органов в ходе освобождения страны, как об этом, в частности, говорил Гусев в беседе с Рипкой.

С проектом программы еще до его обсуждения представителями чехословацких политических сил знакомились Зорин и Молотов. Раздел, касающийся выселения немцев и венгров, не вызвал у них замечаний [4. Ф. 06. Оп. 7. П. 51. Д. 822. Л. 1–3] (опубликовано в [11. С. 171–172]). 4 апреля 1945 г. сформированное в Москве первое правительство Национального фронта чехов и словаков прибыло в г. Кошице (Восточная Словакия). 5 апреля его программа была оглашена на торжественном заседании Словацкого национального совета. И хотя пока никаких законодательных актов принято не было, это оказалось достаточным, чтобы запустить “механизм выселения” немцев и венгров. На местах программа была воспринята как “руководство к действию”. Произошло то, чего опасался Бенеш: началась “расправа” над немецким и венгерским населением. Об этом, опираясь на материалы отечественных архивов, уже говорили и российские исследователи [15. С. 235]. Значительной информацией такого рода располагал отдел международной информации ЦК ВКП(б). В частности, еще в феврале 1945 г. здесь были получены сведения о том, что в Словакии насчитывается 26 тыс. немцев, которые “всцело поддерживают фашистский режим”, “среди всех слоев населения сильно распространены антинемецкие настроения” и они “более сильны, чем в Венгрии. В немцах видят не только зачинщиков войны, но

и грабителей, виновников бедствий, переживаемых населением” [16. Ф. 17. Оп. 128. Д. 32. Л. 2; Оп. 125. Д. 320. Л. 39, 50].

Для чехов подобные настроения были еще более характерны. Вот как описывал их в информации, направленной в ГлавПУРККА, а затем в отдел пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрову в мае 1945 г., начальник политотдела 4-й танковой армии полковник Кладовой: “За время пребывания в Чехословакии бойцы и офицеры наших частей были неоднократно очевидцами того, как местное население свою злобу и ненависть к немцам выражало в самых разнообразных, подчас странных, необычных для нас формах. В районе гостиницы города Прага чехословацкие патриоты, собрав группу до 30 немцев, принимавших участие в подавлении восстания (имеется в виду майское восстание 1945 г. в Праге. – *В.М.*), заставили их лечь на дорогу лицом вниз, и каждого из них, кто пытался поднять голову, избивали палками. Продолжалось это в течение 40 минут. После чего немцы были выведены за город и там сожжены на кострах. Поймав кого-либо из руководителей гитлеровской клики г. Прага чехословацкие патриоты обычно раздевали их до пояса, обливали краской, заставляли в таком виде работать по исправлению мостовой, разборке баррикад, при этом нередко избивали”. Далее перечислялись аналогичные примеры, касавшиеся не только Праги, но и других мест. “Все эти факты не единичны, – говорилось в донесении. – Почти в каждом случае в расправе над немцами принимает участие много населения... Все это объясняется огромной злобой и жадной мести, которые питает чехословацкий народ к немцам за все совершенные злодеяния... Злоба и ненависть к немцам настолько велики, что нередко нашим офицерам и бойцам приходится сдерживать чехословацкое население от самочинных расправ над гитлеровцами” [16. Ф. 17. Оп. 125. Д. 320. Л. 161–163].

В беседе с заместителем наркома иностранных дел СССР С.А. Лозовским 20 июня 1945 г. наличие подобных настроений, по существу, подтвердил и министр просвещения кошицкого правительства, тесно связанный с коммунистами, З. Неядлы, отметивший, что в целом ряде мест “самим народом” были проведены “публичные казни” немцев. На вопрос Лозовского, подтверждаются ли сообщения о том, что “англичане и американцы настроены против проведения провозглашенного Бенешем выселения судетских немцев из Чехословакии”, Неядлы сказал: “Это абсолютно верно, американские войска всячески противятся этому мероприятию и усиленно защищают немцев”. И далее министр добавил: “Две проблемы совершенно ясны теперь для всех: необходимость поддерживать тесную дружбу с СССР и очищение Чехословакии от немцев. По этим двум вопросам не имеется между партиями никаких расхождений” [4. Ф. 0138. Оп. 26. П. 132. Д. 5. Л. 13, 16–18].

Чехословацкое правительство рассматривало вопрос о трансфере на заседании 8 июня, на котором с докладом о внешней политике ЧСР выступил государственный секретарь В. Клементис (КПЧ). Заместитель председателя правительства К. Готвальд настаивал на как можно более скором разрешении этого, одного из самых жгучих для ЧСР вопроса. Другой заместитель председателя, Й. Шрабек (Народная [католическая] партия), выразил сожаление по поводу того, что Министерство национальной обороны не дает точной информации о проведении трансфера, но с удовлетворением констатировал, что он “действительно происходит”. Готвальд заметил, что речь идет о своего рода “трансфере из-под полы”, “поскольку русские не создают трудностей, хотя для них самих такие трудности возникают”. В ходе дискуссии утверждалось, что “маршал Конев трансфера желает и что можно ожидать такой же позиции со стороны маршала Жукова”, однако необходимо убедить в этом англичан и американцев. Министр информации В. Копецкий (КПЧ) настаивал на решительном разоблачении кампании, ведущейся на Западе и в Швейцарии против Чехословакии в связи с выселением немцев. Правительство поручило министру иностранных дел разработать как можно более подробную мотивацию чехословацкой точки зрения по вопросу о трансфере и передать соответствующий меморандум союзной контрольной комиссии (вероятно, совету. – *В.М.*) в Берлине и, по возможности,

ти, совещанию руководителей трех великих держав (в Потсдаме. – *В.М.*), а также советскому послу [17. S. 54–56].

КПЧ и КПС, как следует из изложенного, активно поддерживали идею выселения немецкого и венгерского меньшинства из Чехословакии. Руководство КПС, в частности, 16 июня 1945 г. приняло решение о необходимости сделать все, “чтобы немцы, проживающие на территории Словакии, кроме активных антифашистов, были собраны в концентрационные лагеря, а затем как можно быстрее отправлены за пределы ЧСР” [18. S. 106–107].

Однако “быстрее” не получилось: союзники по антигитлеровской коалиции долго и трудно решали вопрос о том, сколько переселяемых немцев должно быть направлено в отдельные оккупационные зоны Германии. Чехословацкие власти были заинтересованы в скорейшем прояснении ситуации.

23 июня 1945 г. члены прибывшей в Москву для переговоров чехословацкой правительственной делегации Рипка, Клементис и Неедлы были приняты Вышинским. Они поставили перед ним ряд вопросов, которые хотели бы обсудить, в том числе и “о точке зрения советского правительства на переселение немцев из Чехословакии и возвращении чехословаков на родину”. Вышинский отложил этот разговор, сославшись на необходимость предварительно ознакомиться с материалами по указанным вопросам [4. Ф. 0138. Оп. 26. П. 132. Д. 5. Л. 20].

25 июня возглавлявший делегацию Фирлингер, тогда уже премьер чехословацкого правительства, сделал от его имени заявление о необходимости переселения преобладающего большинства немцев и венгров с территории ЧСР. В нем содержалась просьба к правительству СССР поддержать эту акцию и разрешить переместить выселяемых в советские оккупационные зоны в Австрии и Германии, а также в Венгрию еще до подписания соответствующих соглашений по этому вопросу с остальными союзниками. Речь шла, во-первых, о той части немецкого населения, которая переместилась в Чехию и Моравию в 1938–1945 гг., и о тех, кто, отступая вместе с частями вермахта от приближающейся Красной Армии, оказался на территории Чехословакии; во-вторых, о всех фашистских “элементах”, членах национал-социалистской и генлейновской партий, а также их семьях. Что касается остальной части немецкого (и венгерского) населения, то, как говорилось в заявлении, “подготавливается план его организованного переселения по этапам”. Сообщалось, что в ближайшее время должен вступить в действие специальный декрет президента о чехословацком гражданстве, согласно которому его будут лишены все немцы и венгры, кроме активных антифашистов и репрессированных фашистскими властями. Тот, кто пожелает остаться в ЧСР, будет получать гражданство в индивидуальном порядке. В заявлении говорилось, что при попытке избавиться от вышеуказанных категорий немецкого населения чехословацкое правительство встретилось со значительными трудностями, поскольку англо-американское главнокомандование “пока не разрешает переселение в те зоны, которые находятся под контролем англо-американских войск”. Препятствуют выселению и польские административные органы, которые действуют на части соседней с Чехословакией германской территории. “Австрийское правительство со своей стороны возражает против того, чтобы принимать немецкое население даже в тех случаях, когда это население имеет австрийское происхождение, то есть проживает в областях Южной Чехии и Южной Моравии, тесно связанных с Австрией”. Из изложенного ясно, говорилось в заявлении, что единственной возможностью для проведения “немедленного организованного выселения” немецкого населения является его перемещение “в те части Германии и Австрии, которые находятся полностью под контролем и управлением советских военных органов”. Далее утверждалось, что чехословацкое правительство намерено продолжать активные переговоры с правительствами Великобритании и США относительно выселения немцев также в зоны, находящиеся под контролем англо-американских войск. “Чехословацкое правительство, сознавая все (связанные с этим. – *В.М.*) для советских военных органов трудности, естественно, выполняло бы все ус-

ловия организованного переселения, которые советское правительство посчитало бы необходимыми, – значилось в заявлении. – Для практического проведения организованного выселения желательно было бы, чтобы соответствующие чехословацкие административные и военные органы могли обращаться по всем вопросам прямо к соответствующим советским военным органам с тем, чтобы можно было точно установить, через какие пограничные пункты и в каком количестве отдельные группы немцев или венгров будут передаваться” [17. S. 71–72].

Когда 28 июня 1945 г. Фирлингера и государственного секретаря Клементиса принимал Сталин, ему уже, конечно, было известно это заявление чехословацкого правительства. Относительно поднятого Фирлингером вопроса о выселении немцев и венгров из Чехословакии советский лидер сказал: “Мы мешать вам не будем. Прогоняйте их. Пусть испытают на себе, что значит господство над другими”. В связи с этим чехословацкий премьер попросил “дать указание советским военным о содействии этому выселению немцев и венгров”. Сталин удивился: “А разве наши военные препятствуют этому?” Фирлингер ответил: “Препятствий нет, но хотелось бы иметь активное содействие”. Реакции Сталина, как следует из советской записи беседы, не последовало [11. С. 232]. У автора нет сведений о том, давались ли советским военным органам непосредственные указания о поддержке выселения немцев и венгров. Думается, что, имея в виду *организованный* трансфер, они, скорее всего, либо выполняли роль “регуляторов” процесса, либо “закрывали глаза” на происходящее, либо занимали позицию стороннего наблюдателя, не поддерживая активно, но и не пресекая действий местных властей и населения. По возвращении в Прагу Фирлингер на заседании чехословацкого правительства 2 июля заявил: “У Сталина безусловно положительное отношение к нашим требованиям относительно трансфера” [17. S. 80].

4 июля чехословацкий представитель беседовал с маршалом Г.К. Жуковым относительно “трансфера нацистов” из чехословацкого пограничья в советскую оккупационную зону. Как значилось в чехословацкой записи беседы, “маршал Жуков готов принять нацистов с нашей онемеченной территории, однако необходимо определить пункты перехода, осуществить организацию при передаче, провести настоящий медицинский осмотр переселяемых лиц (из опасения эпидемических заболеваний) и т.д. Жуков добавил, что предпочел бы, чтобы его зоне был передан примерно 1 миллион (немцев. – *В.М.*), а остальные – американской оккупационной зоне”. При этом подчеркивались чрезвычайные трудности с продовольствием и транспортом в советской оккупационной зоне, которые “несравнимо хуже, чем в западной, т.е. в английской и американской, зоне” [17. S. 91–92]. Однако расчет на организованное выселение не оправдался. Президентский декрет от 18 июня 1945 г. о наказании перечисленных под запятой “немцев, венгров, предателей и изменников” никак не содействовал этому и только “подлил масла в огонь”.

Между тем вопрос уже получил широкую международную огласку, что грозило осложнением отношений между союзниками по антигитлеровской коалиции на предстоящей Берлинской (Потсдамской) конференции. Видимо, в преддверии встречи И.В. Сталина с новым президентом США Г. Труменом и У. Черчиллем (его затем сменил новый английский премьер К. Эттли) советское руководство нуждалось в полной информации, касающейся выселения немцев из Чехословакии. Возможно, именно в связи с этим подобная справка была подготовлена чехословацким коммунистом Б. Геминдером, в то время директором так называемого НИИ–205, созданного при ОМИ ЦК ВКП(б), и в конце июня 1945 г. направлена Г. Димитрову. Этот обширный документ, озаглавленный “К вопросу о немецком населении в Чехословацкой республике”, состоял из двух частей. Первая включала следующие разделы: 1) программа чехословацкого правительства по вопросу о немецком и венгерском меньшинствах; 2) чешские политические деятели и партии об этом вопросе; 3) информация о практических мероприятиях и об отношении к немцам; 4) отклики за границей. Вторая часть включала справку о немецком и венгерском меньшинствах в

Чехословакии; документы КПЧ о вине и ответственности немцев за содеянное в ЧСР; справку о лондонской группе Якша; некоторые документы чехословацкого правительства по немецкому вопросу; установки КПЧ, касающиеся немцев в Чехословакии [16. Ф. 17. Оп. 128. Д. 775. Л. 180–212]. Какова была дальнейшая судьба этого документа, неясно. Кто знакомился с ним, кроме Димитрова, тоже неизвестно. Возможно, его можно отыскать и среди подготовительных для Потсдамской конференции материалов.

Были и другие каналы поступления информации об отношении к немецкому населению в Чехословакии. В частности, донесение об этом 7 июля 1945 г. получил нарком внутренних дел СССР Л.П. Берия. Его заместитель И.А. Серов сообщал своему шефу о жалобах граждан немецкой национальности “в адрес тов. Жукова и военных комендантов о том, что чехословацкие власти, выселяя немцев из Чехословакии, исключительно грубо обращаются с женщинами и детьми, не обращая внимания на заявления женщин о том, что их мужья арестованы гитлеровцами и до сих пор находятся в концентрационных лагерях. При этом указывается, что у населения отбирают все личные вещи и деньги, оставляя на дорогу лишь по 100 марок”. “Как сообщают наши коменданты и начальники оперативных групп, – говорилось далее в донесении, – выселение немцев с территории Чехословакии происходит неорганизованно и без всякого предупреждения наших командиров. Неорганизованность выселения можно подтвердить такими фактами: в районе г. Эверсбах (Чехословакия) наш оперативный работник встретил командира 28-го стрелкового полка чехословацкой армии. В разговоре с ним оперативный работник установил, что командованию полка никаких указаний от правительства о выселении немцев не дано, но так как чехи, в том числе и он сам, очень не любят немцев, а их полк размещается в немецком районе, поэтому он и принял решение всех немцев переселить в Германию”. “В результате такого переселения, – писал Серов, – в районах, граничащих с Чехословакией, собралось несколько десятков тысяч переселенных немцев, которые ходят попрошайничают и голодают. Имеются случаи самоубийства”. Серов считал, что “было бы целесообразно, чтобы чехословацкое правительство ставило в известность советскую военную администрацию в Германии о плане переселения” [19. С. 212–213]. Скорее всего, такого конкретного плана тогда еще просто не было, во всяком случае, доведенного до сведения на местах. Да и сама местная власть находилась в процессе формирования. Национальные комитеты если и возникали, то действовали в меру своего разума и понимания ситуации, руководствуясь, скорее всего, настроениями населения и эмоциями.

Непосредственные сведения из страны по своим каналам получал и ОМИ ЦК ВКП(б). Так, 20 июля 1945 г. был получен пространный материал от Р. Сланского о положении в Чехословакии. Он давал ответы и разъяснения по ряду ранее поставленных Москвой вопросов, в частности и о переселении немцев. “Широкие массы чешского населения всех слоев, в том числе и рабочие, – писал Сланский, – резко настроены против немцев, они требуют твердого и радикального решения немецкого вопроса, выселения немцев и венгров из республики”. Сообщая о начале переселения, он отмечал, что “при этом часто бывают перегибы, особенно со стороны чехословацких военных органов, которые нередко выселяют и антифашистские элементы... В первые недели, пока в пограничных районах находились только военные органы и разные отряды, руководимые авантюристическими элементами, нередко реакционными, шовинистическими чешскими офицерами, было много случаев перегибов по отношению к антифашистам, избиений немцев, разграбления имущества немцев и т.д.” В настоящее время, считал Сланский, “удалось овладеть положением” [16. Ф. 17. Оп. 128. Д. 29. Л. 84–85].

“Бюллетень Бюро информации ЦК ВКП(б). Вопросы внешней политики” (№ 16. 15 VIII 1945 г.), говоря о внутривнутриполитическом положении ЧСР, писал: “Выселение немцев и венгров из Чехословакии было начато без достаточной подготовки. В ряде мест, особенно в больших городах Словакии, Моравии и Судетской области, органы

власти стали проводить насильственное выселение десятков тысяч немцев и венгров неорганизованно и без какой-либо дифференциации. Реакционные элементы развернули активную шовинистическую кампанию против всех немцев и венгров без исключения... Чехословацкое правительство и Словацкий национальный совет одновременно не вмешались в действия некоторых местных органов власти, приступивших к огульному выселению немцев и венгров, и не пресекли методов насилия, применявшихся ко всем немцам и венграм без разбора. Факты огульных репрессий против немцев и венгров вызвали резко отрицательную реакцию в иностранной прессе. Правительство предполагает провести заселение районов, которые будут освобождены от немцев и венгров, путем внутренней переброски в эти районы части чешского и словацкого населения, а также путем репатриации более 700 тыс. чехов и словаков, проживающих в Венгрии, Австрии, Румынии, Югославии и других странах” [16. Ф. 17. Оп. 128. Д. 49. Л. 170об.]. Видимо, можно сказать, что местные власти, используя антинемецкие настроения чешского населения и опираясь на негласную поддержку центральных органов, осознавших возможность англо-американского отказа от идеи трансфера, стремились “под шумок”, пока вопрос союзниками окончательно не решен, избавиться от как можно большей части немецкого населения. Вопрос о выселении немцев и венгров был использован политическими партиями Чехословакии в борьбе за влияние на массы и за укрепление своего положения в освобожденной стране.

Жестокое обращение с немцами не вызывало осуждения со стороны чешского населения и даже, наоборот, встречало одобрение. Психологически это вполне объяснимо. Только что окончились война и шестилетняя оккупация чешских земель, коренным образом изменившие условия жизни людей и шкалу исповедуемых ими ценностей, наложившие серьезный отпечаток на их поведение и принимаемые решения. В чрезвычайных ситуациях – а война и оккупация могут быть отнесены именно к ним – восприятие “чужого”, “враждебного”, как считают психологи, происходит совершенно иначе, чем в мирное время. В этих условиях безграничная ненависть распространялась на всех без исключения немцев. Такой была и позиция, озвучиваемая представителями различных политических сил: немец – враг, фашист, нацист, гитлеровец, гестаповец и т.д. Ненависть “туманила мозги” и затрудняла восприятие врага как человека. Изгнание, экспроприация немецкого населения воспринимались в этой обстановке как справедливое и заслуженное возмездие. В первые недели после освобождения оно приобрело форму беспощадного массового интернирования и депортаций. 2 августа 1945 г. был издан президентский декрет о лишении чехословацкого гражданства всех лиц немецкой и венгерской национальности, а затем последовали декреты о лишении их имущества. Аналогичным было отношение к немцам и в Польше. Как сообщало летом 1945 г. VII Управление ГлавПУРР-КА Димитрову, в верхних эшелонах власти в стране превалировали стремления “до мирной конференции избавиться любым способом от проживающих на территориях Германии, отошедших к Польше, двух миллионов немцев, даже если эту территорию придется превратить в пустыню” (цит. по: [15. С. 236]). Можно согласиться с мнением многих чешских историков, а также отечественных исследователей Г.П. Мурашко и А.Ф. Носковой, что главной причиной возникновения жестко враждебного отношения со стороны основного населения Польши и Чехословакии к немцам являлась политика фашистской Германии. “Память о поведении немецкого меньшинства, особенно в критических ситуациях кануна Второй мировой войны, утрата национальной государственности, национальное унижение, массовое физическое истребление славян в годы войны, страх перед возможностью повторения германской агрессии – все это были факторы, формировавшие реальную атмосферу вокруг проблемы перемещения немцев” [15. С. 235].

Советские военные власти, фиксируя происходившее, видимо, не препятствовали самочинной расправе над немцами. Во всяком случае, автор не располагает документальными подтверждениями этого. Почему это было так? Здесь тоже пока нет

прямых документов, дающих ответ на этот вопрос. Рискнем сделать следующие предположения. Сталин был сторонником сурового наказания немцев за совершенные ими злодеяния; по всей видимости, он также не отдавал приказа советскому командованию пресекать действия местных властей и населения Чехословакии и Польши, направленные против немецкого населения. И первое, и второе следуют из его ответа на указанный вопрос Фирлингера, заданный им на беседе со Сталиным 28 июня 1945 г. Кроме того, Кремль таким образом лишний раз продемонстрировал свое невмешательство во внутренние дела освобождаемых Красной Армией стран. Но если Запад на момент окончания войны был скорее против трансфера, то Москва – однозначно “за”. Она располагала к этому времени опытом массовых переселений населения на советской территории (немцы, поляки, украинцы, латыши, литовцы, эстонцы, крымские татары, калмыки, карачаевцы, ингуши, чеченцы, балкары и др.) и считала этот метод наиболее действенным в решении политических вопросов, в том числе и международного характера. Наконец, гипотетически можно представить, что в преддверии Потсдамской конференции советское руководство хотело оказать давление на своих западных партнеров, показав им: видите, что происходит, если не ввести процесс в законные рамки и не принять официальных решений о трансфере. Если последнее предположение правильно, то цель была достигнута.

К этому времени были заключены соглашения о зонах оккупации Германии и о контрольном механизме в Германии. 5 июня в Берлине состоялось подписание декларации о ее поражении и взятии верховной власти на территории Германии правительствами СССР, США, Великобритании и временным правительством Франции. В работе проходившей с 17 июля по 2 августа Берлинской (Потсдамской) конференции вопрос о Германии занял центральное место. Задача конференции состояла в том, чтобы решить основные проблемы послевоенного урегулирования, выработать программу длительного и справедливого мира в Европе, не допустить новой агрессии со стороны Германии. В Потсдаме, помимо прочего, была установлена новая польско-германская граница по линии Одер – Западная Нейсе (Одра – Нисса). В связи с этим была достигнута и договоренность о перемещении в Германию немецкого населения или части его, оставшейся в Польше, Чехословакии и Венгрии. Оговаривалось, что трансфер должен производиться организованным и гуманным способом и что Союзный Контрольный Совет (СКС) по Германии должен обратить особое внимание на справедливое распределение прибывающих немцев по всем зонам оккупации. Всего из восточноевропейского региона надо было переселить 6–6.5 млн немцев. В связи с масштабностью задачи и увеличением “тяжелого бремени”, ложившегося на плечи оккупационных властей, правительствам Польши, Чехословакии и Союзной контрольной комиссии в Венгрии предлагалось воздержаться от дальнейшего выдворения немцев впредь до выработки СКС предложений о времени и темпах реализации этой акции [20. С. 118, 376, 476–497 и др.].

Соответствующее постановление СКС было принято 20 ноября 1945 г. В нем указывались маршруты, сроки и численность немецкого населения, подлежащего перемещению в оккупационные зоны Германии. Из Польши в английскую и советскую зоны предполагалось выслать 3.5 млн человек, из Чехословакии – 3 млн, из Венгрии – 0.5 млн. К этому времени значительная часть немцев, проживавших в Судетской области, в районах Восточной Германии, оккупированных Красной Армией, и в Венгрии, уже покинула места своего прежнего жительства. Они уходили с отступавшими частями германской армии по собственной инициативе, опасаясь мести. По некоторым сведениям, таких “добровольцев” было около 5 млн человек [15. С. 234]. Например, Неэдлы в вышеупомянутой беседе с Лозовским утверждал: “В Праге до войны было 20 тыс. немцев, во время войны – 500 тыс., но все бежали” [4. Ф. 0138. Оп. 26. П. 132. Д. 5. Л. 16]. Министр внутренних дел В. Носек (КПЧ) заявил 8 июня, что “многие немцы покидают нашу территорию добровольно, и относительно небольшая часть их возвращается” [17. S. 54].

Что касается Словакии, то большинство немецкого населения, опасаясь приближавшейся Красной Армии, стало покидать ее уже осенью 1944 г. по прямому приказу Г. Гиммлера. Эвакуация, иногда и принудительная, была организована Немецкой партией, возглавляемой Ф. Кармазиным. Эшелоны направлялись преимущественно в Судеты. Из Братиславы многие немцы бежали в Австрию. Согласно данным Немецкой партии, перед приходом Красной Армии из Словакии выехало 120 тыс. из 130 тыс. проживавших там немцев. Однако примерно 30 тыс. эвакуированных и беженцев, не вынеся трудностей жизни вдали от дома и надеясь на лучшее, возвратились на прежнее местожительство. Но здесь они были интернированы в так называемые трудовые лагеря, где и ожидали теперь уже организованного официальными чехословацкими властями выселения [21. S. 15]. В начале 1946 г. в таких лагерях числилось 26 296 человек [18. S. 108].

3 августа 1945 г. министр иностранных дел ЧСР Я. Масарик информировал правительство о решениях Потсдамской конференции по вопросам трансфера и об отличиях во взглядах американского и английского послов в Праге, с одной стороны, от позиции советского посла, с другой – на указанные решения. В связи с этим Клементис, встретившись с Зориным 13 августа, поинтересовался, почему в Потсдаме было принято решение о временной приостановке трансфера немцев и не сделано ли это по инициативе англичан и американцев. Ответ был таков: “У меня нет более точной информации, но я знаю, что сначала были разные трудности в переговорах, и только после выборов в Англии по этому вопросу было достигнуто более быстро согласие”. Во время беседы Клементиса с английским послом в Праге Николсом тот заявил, что проведение трансфера возможно самое быстрое в течение двух лет и что поэтому нельзя ожидать, чтобы немедленно было разрешено возобновить временно запрещенное выселение [17. S. 108–109].

10 августа Бенеш, опираясь на решения Потсдамской конференции, издал декрет № 33, лишавший чехословацкого гражданства лиц немецкой и венгерской национальности, кроме тех, кто остался верен Чехословацкой республике, участвовал в борьбе за ее освобождение или стал жертвой нацистского террора. Таким образом, принцип коллективной вины был закреплен в конкретном правовом акте, создавшем соответствующую законную базу для массового выселения немецкого населения из ЧСР.

В тот же день чехословацкое правительство приняло решение пригласить в Прагу для обсуждения вопроса о перемещении немецкого населения командующего советскими оккупационными войсками в Германии маршала Жукова. Тот приглашение не отверг, но просил, чтобы оно было оформлено через Наркомат иностранных дел в Москве. При этом он сказал беседовавшему с ним генералу Ф. Грабчику, что вопросы эвакуации немцев из ЧСР решает теперь СКС, при котором была создана особая комиссия из представителей трех великих держав, и что подготовительные работы будут завершены в течение 1–2 месяцев. “Если будет необходимо, маршал Жуков позаботится о том, чтобы наше правительство получило приглашение Контрольного Совета прислать (своих. – *В.М.*) представителей”, – значится в чехословацкой записи беседы. Далее, согласно этой записи, Жуков попросил уведомить чехословацкое правительство о том, что “он будет всемерно содействовать тому, чтобы все немцы были эвакуированы из ЧСР. Однако они должны быть распределены *по всей Германии* (курсив мой. – *В.М.*), учитывая экономические условия зоны, оккупированной советской армией. Он дал понять, что эвакуация немцев от нас будет проведена, возможно, и вопреки воле союзников, и подчеркнул, что Советский Союз заинтересован в этой эвакуации, как и мы. Когда ему была выражена благодарность за эту помощь, он снова уверил нас в своей поддержке, поскольку, дескать, получил в этом плане указания из Москвы”. На просьбу возобновить после двухмесячного перерыва, еще до окончательного решения всего вопроса, частичное переселение немцев (примерно 200 тыс. человек), Жуков ответил, что пока на это нельзя рассчитывать, поскольку на территорию, оккупированную советскими вой-

сками, нахлынуло огромное количество немцев из Польши, “с которыми много хлопот”. Жуков вместе с тем согласился с просьбой избавить ЧСР от 140 тыс. граждан бывшего рейха, заметив, что для этого потребуется изучение и решение вопроса его штабом. Относительно создания чехословацкой военной миссии при СКС заместитель Жукова генерал В.Д. Соколовский заявил, что это не встретит возражений, поскольку принятие бельгийской и голландской миссий было Советом уже разрешено [17. S. 122–123].

Таким образом, выселение немцев из Чехословакии временно приостановилось. Оно возобновилось только 25 января 1946 г. и завершилось в основном в октябре 1946 г., хотя последние эшелоны из сборных лагерей покидали Чехословакию еще и летом 1947 г. По словам Готвальда, который после выборов в парламент в мае 1946 г. занял пост председателя правительства, этот вопрос стал носить уже чисто организационный и технический характер [17. S. 242]. Выяснялись и согласовывались конкретные детали: сколько переселенцев, в какую оккупационную зону, когда и по каким маршрутам будет направлено. Например, 25 января 1946 г. Клементис просил Масарика, находившегося в это время в Лондоне, выяснить у Вышинского, который был там же, некоторые вопросы, связанные с перемещением немцев в советскую оккупационную зону. “Как Вы, конечно, помните, – писал он, – генерал Соколовский, заместитель Жукова в Берлине, прекратил это переселение (кроме принятия 30 000 немецких антифашистов), мотивируя тем, что мы уже давно перекрыли квоту 750 000. Ноту такого же плана мы получили и от Зорина”. Клементис полагал, что в данном случае речь идет или о фактической ошибке, или о неправильной интерпретации решения “берлинской Контрольной комиссии” (вероятно, Совета. – В.М.) [17. S. 184].

Вопрос остался открытым, и его обсуждение было продолжено в Москве. 21 марта 1946 г. Вышинский принял посла ЧСР в СССР Й. Горака, который подчеркнул, что “в Чехословакии остается еще большое количество немцев, несмотря на то, что, по сообщению советского посольства в Праге от 21 декабря (1945 г. – В.М.), план переселения немцев в советскую зону оккупации уже перевыполнен”. “Посольство, очевидно, включает в это число, – сказал Горак, – и немцев, выселенных до 20 XI 1945 г., тогда как постановлением Союзного Контрольного Совета от 20 XI 1945 г. должно быть выселено из Чехословакии около 2 500 000 человек, в какое число не должны включаться те, кто был выселен в Германию до этого постановления”. Посол просил оказать содействие в том, чтобы в советскую зону оккупации было принято дополнительно до 400 тыс. человек. Вышинский “разъяснил Гораку, что в 2 500 000 немцев входят как уже переселенные из Чехословакии в Германию, так и подлежащие переселению” и что он сомневается “в возможности дополнительного переселения немцев в советскую зону оккупации Германии, так как в эту зону уже переселились 773 тыс. человек, что превышает установленную норму”. На вопрос Вышинского, сколько всего немцев подлежит переселению и сколько переселено в зоны оккупации союзников, Горак ответа не дал [4. Ф. 0138. Оп. 29. П. 135. Д. 7. Л. 21].

Но спустя несколько дней, 24 марта, посол вручил Вышинскому Памятную записку, в которой излагалась история принятия решений по этому вопросу и их понимание правительством ЧСР. В конце октября 1945 г., говорилось в записке, СКС обратился к чехословацкому правительству с вопросом, сколько немцев подлежат *еще* (курсив мой. – В.М.) выселению из Чехословацкой республики в Германию. Слово “еще”, как будет видно из дальнейшего, несло определенную смысловую нагрузку. Так ли был сформулирован вопрос в запросе СКС, выяснить не удалось. В конце октября 1945 г., значилось далее в записке, чехословацкое правительство передало Контрольному Совету свой ответ, в котором уточнило количество бывших граждан Чехословацкой республики немецкой национальности, подлежащих *еще* (курсив мой. – В.М.) выселению в Германию, числом 2 500 000 лиц. На основе этого числа Контрольный Совет решением от 20 XI 1945 г. постановил выселить в советскую зону *еще* (курсив мой. – В.М.) 750 000 и в американскую зону 1 750 000 немцев. Кроме

того, Контрольный Совет постановил, что в декабре 1945 г. можно из совокупного числа выселить 10%, в январе 1946 г. – 5, в феврале – 5, в марте и апреле – по 15, в мае и июне – по 20, в июле – 10% немцев. Нотой от 21 декабря 1945 г., говорилось в записке, посольство СССР в Праге известило чехословацкое Министерство иностранных дел о том, что по приказу командования советских оккупационных войск в Германии был прекращен прием в советскую зону немцев из Чехословакии ввиду того, что туда прибыло уже значительно больше немцев (773 840 лиц), чем это было предусмотрено решением Контрольного Совета. Далее разбирался вопрос о том, какую дату надо считать решающей для уточнения количества переселяемых немцев. По мнению чехословацкого правительства, такой датой следовало считать “день упомянутого решения Контрольного Совета, т.е. 20 XI 45”. Утверждая, что “советское командование выбрало решающей датой, кажется, месяц май 1945 г.”, правительство ЧСР выражало сомнение в правильности такого выбора и считало, что “таким образом невозможно исполнить план выселения 750 000 немцев по решению Контрольного Совета”. Выражались сомнения и относительно точности числа 773 840, поскольку “невозможно точно определить движение населения в таких исключительно военных обстоятельствах и в первое время после разгрома Германии”. Чехословацкое правительство полагало, что, на основании собранных им данных с мая 1945 г. “добровольно выселилось или подверглось выселению в советскую зону не более чем 450 000 лиц”. В это число включены не только беженцы из Чехословакии, но также лица, переселившиеся во время войны из Германии в ЧСР. Этих лиц, полагало чехословацкое правительство, “нельзя включать в число 2 500 000”. Наконец, обращалось внимание на то, что “почти 100 000 беженцев из Верхней Силезии находятся до сих пор на территории Чехословацкой республики. Так как главнокомандующий советскими оккупационными войсками в Германии маршал Советского Союза Жуков в августе 1945 г. обещал выселение этих беженцев в советскую зону, чехословацкое правительство просит, чтобы репатриация этих лиц была произведена без препятствий, несмотря на то что нынешний приказ прекращает выселение в советскую зону всех немцев вообще” [4. Ф. 0138. Оп. 29. П. 135. Д. 7. Л. 25–29].

Поскольку решение вопроса, казалось, зашло в тупик, чехословацкое правительство поручило министру внешней торговли Рипке, направлявшемуся в Москву во главе торговой делегации, обсудить проблему с советскими руководителями. Рипка затронул ее во время беседы со Сталиным 11 апреля 1946 г., попросив советского лидера оказать содействие выселению немцев в советскую зону в соответствии с чехословацкими пожеланиями. В телеграмме о ходе беседы, направленной участвовавшим в ней Горакком в Прагу 12 апреля, говорилось: “После подробных разъяснений, сделанных Горакком, Сталин по телефону связался с Жуковым и потом нам сообщил, что выселение оставшихся 675 000 в советскую зону будет определено проведено, при этом буквально констатировал, что соглашение должно быть выполнено так, как было договорено” [17. S. 204–205].

Вернувшись в Прагу, Рипка 16 апреля 1946 г. на заседании правительства доложил о результатах своей поездки в Москву, рассказав более подробно о беседе с советскими руководителями. Во-первых, он упомянул, что до этого Горак был принят Молотовым, которому высказал опасения, что американцы могут снизить дополнительно контингент перемещаемых в их зону немцев. Молотов заявил, что это невозможно и что немцы должны покинуть ЧСР. То же самое, по словам Рипки, говорил и Сталин, который в присутствии Рипки и Горака позвонил Жукову. “Было слышно, как Жуков пытался защитить свою точку зрения о том, что он не должен принимать слишком много немцев. Однако Сталин ему сказал, что он не заинтересован в том, чтобы немцы остались у нас (т.е. в Чехословакии. – *В.М.*), что не стоит прибегать ни к каким уверткам, и потребовал у Жукова, чтобы тот ясно сказал, что перемещение в советскую зону (оккупации. – *В.М.*) в Германии возможно. Жуков на это ответил, что выселение возможно, и Сталин потом сообщил нашему министру (Рипке. – *В.М.*), что вопрос будет урегулирован в соответствии с нашими желаниями”. Рипка

подчеркнул “жизненную важность” для Чехословакии выселения немцев. “Сталин полностью согласился с этим. Сам он сказал, что немцам не может верить, что сомнительно, чтобы перевоспитание могло осуществиться на протяжении жизни двух поколений. Видно было, что он так же резко настроен против них, как и во время войны. Он сказал, что это интересный народ. Когда им приказывают, они работают великолепно, они прилежны и исполнительны, но как только команды нет, все это исчезает. Он добавил, что не знает, что произойдет, когда Советы и остальные союзники уйдут из Германии. Германия хотя и потерпела поражение, но германский вопрос остался... Сталин высказал еще пожелание, чтобы выселение проводилось организованно и по-людски, ни в коем случае не нацистскими методами. Министр его заверил, что так и происходит” [17. S. 214–215].

Как видно из приведенных документов, мнение Сталина и Молотова по данному конкретному вопросу расходилось с позицией Жукова и Вышинского, который был его политическим советником в СКС. Можно предположить, что такая позиция обуславливалась не только соображениями экономического порядка, т.е. трудностями со снабжением и транспортом в советской зоне оккупации Германии, но и опасениями политико-идеологического плана, а именно того, что на этой территории, где уже развернули активную деятельность немецкие коммунисты во главе с В. Ульбрихтом, прибавится число “обиженных и пострадавших”, возможно, эвентуальных сторонников нацистской идеологии. Как бы то ни было, но желание Сталина являлось законом, и выселение немцев из ЧСР в советскую оккупационную зону продолжилось. Надо заметить, что в условиях, когда Чехословакии отводилась роль “форпоста” укрепления советского влияния в Центральной и Юго-Восточной Европе [22. S. 451–467], Москва была заинтересована в том, чтобы быстрее стабилизировать обстановку в этой стране, не допускать роста социально-политической напряженности, содействовать укреплению влияния коммунистов под национальными и демократическими лозунгами. В первом правительстве Национального фронта чехов и словаков КПЧ занимала весьма сильные позиции. Отсюда и желание Сталина поддержать намерения Бенеша и правительства в целом избавиться как можно скорее от “немецкого элемента”, задержка которого на чехословацкой территории могла повлечь за собой дополнительную напряженность в ЧСР, нежелательную с точки зрения советского лидера. Возможно, ему казалось, что перемещенные в Германию и распределенные по всем оккупационным зонам “чехословацкие немцы” не будут столь опасны, как если бы они остались в местах прежнего компактного проживания. Если в первой половине 1946 г. эшелоны с выдворяемыми немцами шли преимущественно в американскую зону оккупации Германии, то во второй половине этого года также и в советскую. Из Словакии до 1 октября 1946 г. было выселено 32 450 немцев. Немецкое меньшинство там практически прекратило существование. Остались только немногие, да и те, опасаясь преследований, постепенно “словакизировались” [21. S. 17].

14 мая 1946 г. Рипка информировал правительство, что в течение июня-октября с территории ЧСР в советскую зону оккупации будет перемещено 650 тыс. человек. Итоговая информация о переселении немцев была заслушана правительством 17 декабря 1946 г. Было констатировано, что 150 тыс. лиц немецкой национальности остаются в ЧСР в связи с экономическими потребностями, часть будет перемещена в 1947 г. в американскую оккупационную зону, а оставшиеся распределены по территории Германии [17. S. 205].

Итак, СССР на завершающем этапе войны и в принципе, и конкретно поддержал желание Бенеша избавиться от немецкого населения Чехословакии. Запад, в конце концов, также согласился на выселение немцев из Польши, Чехословакии и Венгрии, что было зафиксировано в решениях Потсдамской конференции. Надо заметить, что эти решения принимались хотя и после окончания войны в Европе, но еще до окончания Второй мировой войны в целом. Запад пошел на них под давлением обстоятельств, не желая ставить под угрозу участие СССР в войне против Японии, а Совет-

ский Союз – будучи уверен в их правильности и стремясь к стабилизации положения в Чехословакии, форпосте своего влияния в Центральной и Юго-Восточной Европе. Надо иметь в виду, что принимаемые в условиях войны политические решения не всегда представляются оправданными в условиях мирного времени. Но, как утверждал великий грузинский поэт Шота Руставели, “каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны”. А в данном случае не только со стороны, но и с полувековой дистанции. Правильным, думается, было бы считать, что виновником выселения немцев была политика нацистской Германии, наложившая, к сожалению, черное пятно на весь немецкий народ и имевшая впоследствии нежелательный политический резонанс.

По данным Й. Сламы, исследовавшего последствия, согласно его терминологии, “вынужденного перемещения” немцев для Чехословакии, всего ЧСР в первые послевоенные годы покинуло 2 996 тыс. лиц немецкой национальности, в том числе Чешские земли – 2 820 тыс., Словакию – 176 тыс. В процессе неорганизованного переселения было выдворено 660 тыс. человек (из Чешских земель – 650 тыс., из Словакии – 10 тыс.), организованного – 2 256 тыс. (из Чешских земель – 2 100 тыс., из Словакии – 156 тыс.), дополнительного – 80 тыс. (из Чешских земель – 70 тыс., из Словакии 10 тыс.). Если исходить из того, что в обеих частях восстановленной в 1945 г. ЧСР в конце 1944 г. проживало 15 567 тыс. человек, то ее население в результате трансфера и добровольно-вынужденного переселения немцев сократилось на 19.3%, т.е. почти на пятую часть. Особенно это коснулось Чешских земель. В 1937 г. здесь проживало 10 888 540 человек, в том числе 3 125 555 немцев (29.3%). В 1945 г. из 10 692 912 жителей их осталось 2 809 000 (26.3%), в 1946 г. – из 9 523 266 человек 1 357 тыс. (14.2%), в 1947 г. – из 8 765 239 – 180 тыс. (2%), в 1948 г. – из 8 893 104 – 170 тыс. (1.9%). В последующие годы число немцев в Чехии неуклонно продолжало сокращаться: в 1991 г. из 10 298 731 жителей их насчитывалось уже только 47 789 (0.5%) [23. S. 528–529]. Очевидно, за 40 лет “социалистического строительства” оставшиеся в стране немцы либо были ассимилированы, либо “добровольно” покинули Чехословацкую социалистическую республику.

Территории прежнего проживания немцев заселялись чешскими и в меньшей степени словацкими колонистами, а также реэмигрантами и репатриантами. Вот как выглядел этот процесс в Пограничье, где число жителей в феврале 1945 г. составляло 860 000, в августе – 1 240 000, в декабре – 1 730 000, в мае 1946 г. – 2 000 000, в конце 1948 г. – 2 590 149 человек. Й. Слама полагает, что “большие территории государства обезлюдели и до сих пор заселены не полностью” [23. S. 529–530]. В социальном плане среди колонистов преобладали сельскохозяйственные рабочие, бедные крестьяне, мелкие городские предприниматели и ремесленники. В политическом отношении, как показали парламентские выборы мая 1946 г., значительная их часть составила электорат КПЧ, активно ратовавшей за предоставление им земли и создание приемлемых условий существования. В этом сходятся многие современные чешские исследователи. З. Сладек, например, пишет: “Непосредственные последствия выселения (немцев. – *V.M.*) для политического развития после 1945 г. известны: усиление политических позиций коммунистов, особенно среди крестьян в пограничных районах государства” [24. S. 533]. В ходе колонизации в Пограничье возникло около 130 тыс. новых крестьянских хозяйств. Только 30 тыс. из их собственников имели в прошлом свою землю, но, как правило, не более 2 га. Члены остальных работали на чужой земле и не имели, следовательно, навыков ведения собственного хозяйства, средние размеры которого в Пограничье были довольно крупными и достигали 13 га [25].

С выселением немцев ЧСР потеряла значительное число высококвалифицированных наемных работников, в том числе инженерно-технических специалистов, рабочих, а также много самостоятельных предпринимателей во всех сферах экономики, начиная с сельского хозяйства и кончая коммунальными службами. Новые переселенцы по сравнению с перемещенным немецким населением являлись менее квалифицированными и менее связанными с индустрией. Однако экономические последствия выселения немцев тогда не были первостепенно важными с точки зрения

упрочения нового, “народно-демократического” режима. Куда более важными являлись непосредственные социально-политические последствия этой акции: предоставление новых рабочих мест для чешского и словацкого населения, конфискация под национальными лозунгами не только крупной, но и мелкой немецкой собственности, перемещение части промышленных предприятий в Словакию в рамках “плана индустриализации” этой менее развитой области страны, создание более однородной национальной структуры ЧСР, что представлялось особенно важным с точки зрения ее внутривластной стабильности и предотвращения возможных в будущем агрессивных поползновений со стороны Германии. Отдаленные международно-политические последствия выселения немцев в то время, конечно, не просчитывались, да и не могли быть просчитаны. Естественно, никто не мог предвидеть распада в конце XX в. только начавшего тогда строиться после окончания войны “социалистического лагеря”, крах коммунистических режимов в СССР и в странах зоны его влияния, прекращение существования Чехословакии как единого государства и создание самостоятельных Чешской и Словацкой республик, повернувшихся “лицом к Западу” и включающихся в его политические, экономические и военные структуры.

В этих новых условиях вновь стал актуальным и вопрос о выселении немецкого населения из Чехословакии в основном в послевоенные годы, который был поднят сначала политиками, а затем уж привлек к себе внимание и историков. Так, например, набиравшая силу Чешская социал-демократическая партия в 1993 г. внесла в свою программу следующий пассаж: “В интересах будущего мы отвергаем какие-либо попытки возвращения к вопросам имущественных притязаний судетских немцев. Прощение, понимание, взаимное и взвешенное извинение справедливее и человечнее, чем раздувание нового пламени имущественных и даже территориальных споров”. Указывалось на важность того, “чтобы отношения между чехами и немцами были для Центральной Европы одним из стабилизирующих факторов” [26. С. 257]. Думается, что эти положения тогда отражали мнение большей части чешского общества. Партийно-политические споры вокруг проблемы судетских немцев не утихали и были подхвачены средствами массовой информации. В обсуждение проблемы включились журналисты, политологи, социологи, историки и т.д. В 1994 г. Институтом международных отношений ЧР был издан сборник документов “Чехи и судетонемецкий вопрос. 1939–1945 гг.”, дающий достаточно полное представление о выработке и эволюции взглядов на решение вопроса о “чехословацких” немцах в военные годы. Институт современной истории АН Чешской республики провел в 1994 г. на страницах издаваемого им журнала “Soudobé dějiny” заочный форум “О судетонемецком вопросе”. Свое мнение высказали 14 ученых, в том числе пятеро из-за границы, главным образом Германии. Чешский публицист Б. Долежал, чей предварительно разосланный участникам дискуссии текст и был подвергнут обсуждению, отметил, что до ноября 1989 г. эта тема, по сути, находилась в ЧССР под запретом и поднималась либо эмигрантами, либо официально отстраненными от научной работы после 1968 г., но продолжавшими свою деятельность чехословацкими историками. Принявшая участие в дискуссии группа авторов, ядром которой являлись П. Питгарт и П. Пржигода, высказалась за принципиальное осуждение выселения немцев, оценивая его, прежде всего, в моральном ракурсе и с точки зрения общедемократических ценностей. Критики “морализирования” (М. Гюбл, В. Курал) обращали внимание на то, что моральному осуждению должен предшествовать подробный анализ происшедшего, что историк обязан рассматривать события в их конкретно-исторической обусловленности. Они полагали, что выселение было хотя и трагическим, но необходимым событием, что иного оптимального решения не существовало, что случившееся в истории уже нельзя отменить и что это даже не в чешских интересах. Долежал, соглашаясь с Куралом в том, что ответ на вопросы, которые ставит история, не может быть лишь результатом морального суда, подчеркивал, что их “перед нами ставит не история, а современность, причем в двух смыслах: как внешнеполитическую проблему, которая может иметь большое влияние на дальнейшую судьбу

Чешского государства, и как внутривластную проблему с аналогичными возможными последствиями. Основной вопрос, следовательно, не в том, что могли чехи делать тогда, в 1945–1947 гг., а в том, что должны делать теперь, сегодня”. “Судетонемецкая проблема, – по мнению Долежала, – для нас является внешнеполитической проблемой: наш путь в Европу не ограничивается членством в европейских институтах. Его первой предпосылкой является исповедание общих ценностей. Выселение было основано на иных ценностях, и если мы хотим его защищать, то не встанем обеими ногами на европейскую почву” [27. С. 240–241, 245]. Принявший участие в дискуссии Курал обвинил Долежала в том, что он в своих рассуждениях ограничился по сути лишь критикой чешской стороны и что из его поля зрения выпала сторона немецкая, ответственность которой за войну скорее преуменьшена. В логике Долежала, полагал Курал, отсутствует причинно-следственная связь, важнейшим изначальным звеном которой является нацистский режим в Германии, задавшийся целью уничтожить демократическую Чехословакию при поддержке судетских немцев, оккупационная система с ее бесчеловечным террором, а также начатая Германией и ведущаяся крайне жестокими методами война. “Эти главные факторы, – по мнению Курала, с которыми можно согласиться, – создали ситуацию, на которую реагировали союзники, и именно они инициировали обрушение устоявшихся моральных ценностей” [27. С. 259].

Дискуссии положило конец политическое решение. Президент ЧР В. Гавел принес извинение за выселение немцев из Чехословакии после Второй мировой войны. В начале 1997 г. последовала совместная чешско-немецкая декларация, подписанная премьер-министром Чешской Республики В. Клаусом и канцлером ФРГ Г. Коелем (см. Приложение № 1). Немецкая сторона признала свою ответственность за насилие в отношении чехов, за раздел довоенной Чехословакии, за атмосферу, в которой проводилось выселение сразу после войны. Чехи, в свою очередь, выразили сожаление по поводу тех притеснений и несправедливостей, которые пришлось испытать невинным людям во время выселения [28. С. 50–51]. С тех пор этот вопрос то появляется (как правило, на пике политических баталий), то исчезает из поля зрения мировой общественности, а точнее – общественности Германии и Австрии. Но, думается, ничего нового обе спорящие стороны сказать уже не могут: тут возможен либо политический, либо конкретно-исторический подход. Впрочем, возможна, не дай Бог, еще и попытка практически пересмотреть историю и восстановить, как считают некоторые, “попранную справедливость”. Современный опыт решения территориально-этнических проблем под этим лозунгом свидетельствует, что восстановление справедливости по отношению к одним ведет, как правило, к несправедливости по отношению к другим, к несправедливости, которую исправлять уже придется будущим поколениям. Поэтому следует внять призыву одного из участников упомянутого форума Т. Станека: «Господа, прекратите, наконец, дискуссии, идите в архивы! Незученных, чрезвычайно интересных материалов о “судетонемецкой проблеме” там свыше головы” [27. С. 283]. Историки должны заниматься именно этим в надежде, что политики будут учитывать уроки прошлого. В последнее время вопрос о правомерности выселения немцев из Чехословакии и об оценке в связи с этим соответствующих декретов Бенеша 1945–1946 гг. вновь обострился (см. [29. С. 43–56]). При этом речь идет о животрепещущих политических проблемах. В частности, определенные круги в ФРГ и Австрии призывают свои правительства наложить вето на прием ЧР в Европейский союз (ЕС) в случае, если Прага официально не осудит упомянутые декреты как воплощение принципа коллективной вины. Наиболее радикальные представители судетонемецкой общины требуют возвращения имущества, конфискованного у них и у их предков в 1945–1946 гг., и даже возврата судетским немцам гражданских и политических прав в Чехии. Однако ни официальные руководства Германии и Австрии, ни ведущие представители ЕС эту позицию на сегодняшний день не разделяют.

Полемика вокруг “декретов Бенеша” особенно усилилась весной 2002 г. перед парламентскими выборами в ЧР. В январе этого года премьер-министр Чехии М. Земан в одном из своих интервью назвал судетских немцев “пятой колонной Гитлера” и однозначно одобрил депортацию немецкого меньшинства из Чехословакии. Австрийские и немецкие политики ответили резкой критикой этих заявлений. Был отменен намеченный на апрель визит в Прагу германского канцлера Г. Шредера. Президент ЧР В. Гавел вынужден был дезавуировать наиболее резкие высказывания Земана. В чешских, немецких и австрийских СМИ возобновилось обсуждение судетонемецкой проблемы. В апреле 2002 г. палата депутатов чешского парламента единогласно приняла весьма умеренное по тону заявление, разъясняющее ее отношение к реституции и “декретам Бенеша” (см. Приложение № 2). Однако, по всей видимости, полемика на этом не прекратится и будет возобновляться всякий раз, когда политики в собственных интересах сочтут это необходимым.

И еще несколько слов по поводу ведущихся ныне дискуссий политико-лингвистического, терминологического, плана о том, как называть то, что произошло с “чехословацкими немцами” после войны. В документах исследуемого времени встречаются самые разнообразные термины: выселение, переселение, перемещение, трансфер (главным образом в документах международного характера), изгнание, выдворение и пр. Многие сторонники “восстановления справедливости” на Западе предпочитают пользоваться термином “изгнание”, с чешской стороны, как представляется, чаще звучит термин “выселение”. Й. Слама как будто нашел компромиссный термин “вынужденное переселение”. Однако, думается, все же более правильно говорить о *выселении*, поскольку это понятие более общее и “покрывает” все остальные, которые отражают лишь формы, методы, способы, которыми проводилось выселение. Что требует бесспорного сожаления и осуждения, так это принцип коллективной вины, который применялся в ходе выселения и особенно в период так называемого “дикого выселения” немцев. Судя по ниже приведенным документам, большая часть чешского общества ныне согласна с этим [30; 31].

Приложение

№ 1

ЧЕШСКО-НЕМЕЦКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ²

Правительства Чешской Республики и Федеративной Республики Германия, памятуя о Договоре между Чешской и Словацкой Федеративной Республикой и Федеративной Республикой Германия о добрососедстве и дружественном сотрудничестве от 27 февраля 1992 года, которым чехи и немцы подали [друг другу] руку; имея в виду длительную историю плодотворного и мирного сосуществования чехов и немцев, в ходе которого возникло богатое культурное наследие, существующее и поныне; будучи убеждены, что совершенные несправедливости нельзя исправить, но, самое большее, смягчить, и что при этом не должны быть совершены новые несправедливости; сознавая, что Федеративная Республика Германия полностью поддерживает принятие Чешской Республики в Европейский Союз и организацию Североатлантического пакта в уверенности, что это в их взаимных интересах; заявляя о доверии и открытости во взаимоотношениях как предпосылке длительного и рассчитанного на будущее примирение, совместно заявляют:

² Под таким названием он был опубликован в [30]. Документ на чешском языке представлен автору Е.П. Серапионовой.

1. Обе стороны сознают свои обязанность и ответственность за дальнейшее развитие чешско-немецких отношений в духе добрососедства и партнерства и содействуют тем самым созданию объединяющейся Европы.

Чешская Республика и Федеративная Республика Германия сегодня исповедуют общие демократические ценности, уважают права человека, основные свободы и нормы международного права и привержены принципам правового государства и политике мира. На этой основе они полны решимости дружески и тесно сотрудничать во всех областях, важных для взаимных отношений.

Обе стороны также сознают, что общая дорога в будущее требует ясной оценки прошлого, причем причина и следствие в развитии событий не могут быть опущены.

2. Немецкая сторона признает ответственность Германии за ее роль в историческом развитии, которое привело к Мюнхенскому соглашению 1938 г., к бегству и изгнанию людей из чехословацкого пограничья, а также к развалу и оккупации Чехословацкой Республики.

Она сожалеет о страданиях и несправедливостях, которые были совершены по отношению к чешскому народу в результате злодеяний немецких национал-социалистов. Немецкая сторона воздает честь жертвам национал-социалистского правительства насилия и тем, кто этому правительству насилия оказывал содействие.

Немецкая сторона понимает также, что национал-социалистская политика насилия в отношении чешского народа содействовала созданию почвы для послевоенного бегства, изгнания и принудительного выселения [немцев].

3. Чешская сторона сожалеет, что в ходе послевоенного выдворения, как и принудительного выселения судетских немцев из тогдашней Чехословакии, экспроприации и лишения гражданства было принесено много страданий и совершено много несправедливостей в отношении невинных людей, в том числе и в результате определения характера вины как коллективной.

Особенно [чешская сторона] сожалеет об эксцессах, которые противоречили элементарным принципам гуманизма и действующим тогда правовым нормам, и, кроме того, сожалеет, что на основе закона № 115 от 8 мая 1946 г. была дана возможность не рассматривать эти эксцессы как бесправие и что вследствие этого эти деяния не были наказаны.

4. Обе стороны согласны в том, что совершенные несправедливости останутся в прошлом и что они [стороны], таким образом, будут ориентироваться в своих отношениях на будущее. Именно потому что они помнят о трагических главах своей истории, они полны решимости в дальнейшем отдавать предпочтение в своих отношениях договоренностям и взаимному согласию, причем каждая из сторон исходит из своего правопорядка и уважения к тому, что другая сторона имеет иные правовые воззрения. Поэтому обе стороны заявляют, что не будут отягощать свои отношения политическими и правовыми вопросами, проистекающими из прошлого.

5. Обе стороны подтверждают свои обязательства, вытекающие из ст. 20 и 21 Договора между Чешской и Словацкой Федеративной Республикой и Федеративной Республикой Германия о добрососедстве и дружественном сотрудничестве от 27 февраля 1992 года, в котором зафиксированы права представителей немецкого меньшинства в Чешской Республике и лиц чешского происхождения в Федеративной Республике Германия.

Обе стороны понимают, что это меньшинство и эти лица играют важную роль в [их] взаимоотношениях, и констатируют, что их поддержка и в дальнейшем в интересах обеих сторон.

6. Обе стороны убеждены, что вступление Чешской Республики в Европейский Союз и свободное передвижение в этом пространстве в будущем облегчат сосуществование чехов и немцев. В этой связи они выражают пожелание, чтобы на основании Европейского договора о присоединении между Европейским сообществом и государствами, его членами, и Чешской Республикой был достигнут значительный

прогресс в области экономического строительства, включая возможность предпринимательской деятельности согласно ст. 45 этого Договора.

Обе стороны готовы в рамках своих правовых норм при рассмотрении просьб о пребывании [в стране] и о доступе на рынок труда особо учитывать гуманитарные и иные доводы, особенно родственные отношения, а также семейные и прочие взаимосвязи.

7. Обе стороны учреждают Чешско-немецкий фонд будущего. Немецкая сторона заявляет, что готова вложить в этот фонд 140 млн. немецких марок. Чешская сторона заявляет, что готова вложить в фонд 20–25 млн. немецких марок. Обе стороны подпишут особое соглашение о совместном управлении фонда.

Этот общий фонд будет служить для финансирования проектов, касающихся общих интересов (встреч молодежи, заботы о стариках, строительства и деятельности лечебных учреждений, заботы об архитектурных памятниках и кладбищах и их реконструкции, поддержки меньшинств, партнерских проектов, чешско-немецких дискуссионных форумов, совместных научных и экологических проектов, обучения языку, приграничного сотрудничества).

Немецкая сторона заявляет о своих обязательствах и ответственности в отношении всех, кто стал жертвой национал-социалистского насилия. Поэтому проекты, которые предназначены для этого, должны быть выгодны, прежде всего, жертвам национал-социалистского насилия.

8. Обе стороны согласны в том, что история развития отношений между чехами и немцами, особенно в первой половине XX в., требует совместного изучения, и поэтому позаботятся о продолжении [работы] успешно действующей чешско-немецкой комиссии историков.

Обе стороны рассматривают также поддержку и заботу о культурном наследии, которое объединяет чехов и немцев, как важный вклад в возведение мостов в будущее. Обе стороны договариваются об организации чешско-немецкого дискуссионного форума, который будет поддерживаться, прежде всего, из средств Чешско-немецкого фонда будущего, и на нем (форуме. – В.М.) будет под покровительством обоих правительств и при участии [представителей] всех кругов, заинтересованных в тесном и добром чешско-немецком партнерстве, развиваться чешско-немецкий диалог.

№ 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ, КАСАЮЩЕЕСЯ ПОСЛЕВОЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ДЕКРЕТОВ³

Палата депутатов Парламента Чешской Республики

– не признавая попыток открыть вопросы, связанные с окончанием и результатами Второй мировой войны,

– отмечая позитивное значение Чешско-германской декларации и выраженного в ней стремления не отягощать будущее двусторонних отношений политическими и правовыми вопросами, корни которых уходят в прошлое,

– подтверждая, что добрососедские отношения и полноправное членство в Европейском союзе остаются внешнеполитическими приоритетами Чешской Республики,

– исходя из того, что содержание и условия законодательства о реституции всецело и полностью находятся в ведении чешских конституционных органов, провозглашает, что:

1. Чехословацкое законодательство 1940–1946 гг., в том числе декреты президента республики, возникло, как и в других европейских государствах, в результате войны и поражения в ней нацизма;

³ Под таким названием заявление было опубликовано в Парламентском вестнике [31]. Документ в переводе на русский язык предоставлен автору Я.В. Шимовым.

2. Послевоенные законы и декреты президента республики были реализованы в период после их издания таким образом, что в настоящее время на их основании не могут возникнуть какие-либо новые правовые отношения;

3. Правовые и имущественные отношения, вытекающие из указанных законодательных актов, являются действительными, неприкосновенными и неизменными.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Марына В.В.* Выселение немцев из Чехословакии: рождение и модификация идеи. 1939–1943 гг. // *Славяноведение*. 2003. № 1.
2. *Češi a sudetoněmecká otázka 1939–1945. Dokumenty* / Ed. J. Vondrová. Praha, 1994.
3. *Beneš E. Vzkazy do vlasti. Směrnice a pokyny československému domácímu odboji za druhé světové války* / Ed. J. Šolc. Praha, 1996.
4. Архив внешней политики Российской Федерации.
5. *Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939–1945. Dokumenty*. Praha, 1998.
6. Переговоры Э. Бенеша в Москве (декабрь 1943 г.). Публикация документов В.В. Марьиной // *Вопросы истории*. 2001. № 1, 3.
7. *Fierlinger Z. Ve službách ČSR*. Praha, 1948. D. 2.
8. История внешней политики СССР. 1917–1975. В 2-х т. М., 1976. Т. I. 1917–1945 гг.
9. *Dokumenty z historie československé politiky 1939–1943*. Praha, 1966. D. 1, 2.
10. *Марына В.В.* К событиям в Подкарпатской Руси (Закарпатской Украине) осенью 1944 – зимой 1945 года // *Славяноведение*. 2001. № 3.
11. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953 гг. М.-Новосибирск, 1997. Т. 1. 1944–1948 гг.
12. *Марына В.В.* Э. Бенеш: последний визит в Москву (март 1945 года). Документальный очерк // *Славяноведение*. 1996. № 6.
13. *Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu*. Praha, 1965. I–I svazek.
14. *Cestou Května. Dokumenty k počátkům naší národní a demokratické revoluce*. Duben 1945 – květen 1946. Praha, 1975.
15. *Мурашко Г.П., Носкова А.Ф.* Национально-территориальный вопрос в контексте послевоенных реальностей Восточной Европы. 1945–1948 гг. (По новым документам российских архивов) // *Национальный вопрос в Восточной Европе. Прошлое и настоящее*. М., 1995.
16. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17.
17. *ČSR a SSSR. 1945–1948. Dokumenty mezivládních jednání*. Brno, 1997.
18. *Olejník M.* Hlavná fáze odsunu německého obyvatel'stva ze Slovenska // *Sborník studií k národnostní politice Československa*. Praha, 2001.
19. Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. М., 1999. Т. 1. 1944–1948 гг. Документы.
20. Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1980. Т. 6. Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании.
21. *Kováč D.* Evakuácia a vysídlenie Nemcov zo Slovenska // *Od diktatúry k diktatúre*. Bratislava, 1995.
22. *Marjínová V.V.* Od důvěry k podezřívavosti. Sověťští a českoslovenští komunisté v letech 1945–1948 // *Soudobé dějiny*. 1997. № 3–4.
23. *Sláma J.* Důsledky nuceného vysídlení Němců pro Československo // *Soudobé dějiny*. 1994. № 4–5.
24. *Sládek Z.* Vliv nacistické nadvlády na politický vývoj v Čechách a na Moravě // *Soudobé dějiny*. 1994. № 4–5.
25. *Zemědělské noviny*. 1 IV 1948.
26. *Задорожнюк Э.* Социал-демократия в Центральной Европе. М., 2000.
27. Fogum. *O sudetoněmecké otázce* // *Soudobé dějiny*. 1994. № 2–3.
28. *Серапионова Е.П.* Чешские земли, чехи и немецкий вопрос (1918–1945 годы) // *Славяноведение*. 2000. № 5.
29. *Славяноведение*. 2003. № 1.
30. *Text česko-německé deklarace* // *Český dialog*. 1997. Č. 1–2.
31. *Usnesení sněmovny k poválečným prezidentským dekretům* // *Parlamentní zpravodaj*. 25 VI 2002.



В конце XX в. жизни народов Центральной и Юго-Восточной Европы и развитии их литературы завершилась целая историческая эпоха.

Литературы этого региона на протяжении столетий развивались под знаком борьбы за национальное освобождение. XX век, принесший странам региона долгожданную независимость, стал вместе с тем для их народов и веком тяжелейших испытаний. Первая и Вторая мировые войны, драматическая эпопея борьбы с фашизмом, тупиковый опыт строительства социализма – все это нашло многообразное отображение во множестве незаурядных художественных произведений.

Ритм литературных изменений, как правило, совпадал с ритмом важнейших поворотов в общественно-политической жизни этих стран. Лишь период межвоенного двадцатилетия и в какой-то мере "оттепельные" 1960-е годы в отдельных странах отличались атмосферой свободного художественного поиска и плюрализма мнений. Послевоенная культурная политика правящих коммунистических партий настойчиво, нередко насильственно, навязывала литературе идеологические догмы.

В этих условиях литература вырабатывала особые формы художественного сопротивления, которое завуалированно проявлялось в произведениях, выходявших в открытой печати, а также, в особенности в 1970–1980-е годы, получало выход в самиздате и книгах, создававшихся писателями-эмигрантами. Сложная и противоречивая картина литературного развития оценивалась в текущей литературной критике в зависимости от политической конъюнктуры. В результате избирательного подхода многие авторы, произведения и даже целые группировки и течения произвольно изымались, надолго вычеркивались из литературного контекста или получали одностороннюю, тенденциозную трактовку. С другой стороны, неправомерно завышалась значимость авторов, демонстрировавших в своих произведениях лояльность к властям.

После 1989 г. предпринимаются попытки обновленного, объективного подхода к литературному процессу в XX в., свободного от прежних идеологических штампов и деформаций. Духом восстановления историко-литературной справедливости были отмечены и выступления участников международной конференции "Центральная и Юго-Восточная Европа: к проблематике литературных итогов XX века", проведенной Центром по изучению современных литератур Института славяноведения РАН в ноябре 2001 г. Ряд выступлений на этой конференции предлагается вниманию читателей журнала.



© 2003 г. И. АДЕЛЬГЕЙМ

ОБНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖВОЕННОЙ ПОЛЬСКОЙ ПРОЗЕ

“Психологический язык” – сплав эстетического и психологического, развивающаяся, исторически обусловленная система вербального кодирования чувственного опыта – служит для принятия и передачи эмоционально пережитой и эстетически оформленной информации о внутреннем мире человека и взаимодействии его с другими. Значимость и постоянное присутствие продуцируемых культурой (и в первую очередь – литературой) форм такого языка в обыденной жизни выражается в интуитивно всегда угадываемых нами стилистических “допусках” и “нормах”. (Мы всегда хорошо понимаем, о чем идет речь, когда говорим: так, в такой форме сегодня выражают – или не выражают – свою, пользуясь словами Бродского, “прочувствованную мысль”).

Ситуации, связанные с поисками смысла жизни, переживаниями любви, страха смерти, боли, одиночества и т.п., повторяются в разные эпохи, в разных социальных слоях, разных культурах. Но то, как они переживаются, т.е. как объясняются себе и как такие объяснения оцениваются общим сознанием, иными словами, языковая форма, в которой подобные переживания и оценки выражаются, меняется постоянно.

Чередующиеся в истории каждой литературы периоды взлетов или упадка то поэзии, то прозы – это одновременно и этапы бытования определенных понятий, структур, смыслов психологического языка. В непрерывно идущем процессе его обновления и развития поэзия выполняет своего рода функцию “осуществления словаря” (выражение А. Битова) душевных усилий. Она дает “звук” и форму тому максимальному напряжению, в котором нуждается человек в данный момент истории и собственного бытия в ней. Проза же – своими средствами – “рассказывает” о реальных путях и вариантах таких усилий. Она анализирует то, как подобное напряжение поисков смысла возникает, разворачивая сжатую пружину поэтической формулы переживания в развернутый “сценарий” представления жизни. Рефлексия прозы, форма и направление которой вырастает в немалой степени из импульсов, полученных ею от поэзии, в какой-то момент своего собственного развития подводит психологический язык к той черте, за которой возникает острая необходимость в обновлении форм составляющих его “словарь” понятий и представлений.

В истории каждой литературы возникают моменты (они связаны с резкими изменениями форм реальной жизни), когда актуальность обновления психологического словаря становится особенно острой. Таким периодом в польской литературе XX в. оказалось, в частности, межвоенное двадцатилетие.

Адельгейм Ирина Евгеньевна – канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

“Психологическое” зрение литературы материализуется в поэтике составляющих ее текстов. Структура художественного произведения дает представление о том, что и как видит художник, к чему готова литература в целом, как поэтому ее читатель может “через текст” увидеть “мир, организованный вокруг текстов” (С. Аверинцев). Прочитанная под этим углом зрения, польская межвоенная проза несомненно представляет общекультурный интерес. Для Польши межвоенный период был связан не только с переживанием общеевропейского и мирового кризиса, но и одной из значительнейших вех собственной истории. 1918 год – начало вновь обретенной ею государственности, на пути к которой формировался определенный тип национального сознания (то, что принято называть “польскостью”). Для литературы – как формы коллективного самоощущения – подобная ситуация стала психологически и эстетически уникальной. Слово оказалось перед необходимостью вывести мир ощущений из сложившейся системы императивов в более универсальную.

Многие десятилетия Польша находилась под прессингом разных и достаточно сильных культурных влияний. Феномен “культурного пограничья” при романтизированном “польском” характере – специфическая черта быта и бытия поляка. Теперь все эти явления должны были сформировать единое литературное пространство, ориентированное на пространство общеевропейское. С одной стороны, – русская литература с ее общепризнанной традицией психологизма, с другой – сильное и продуктивное влияние западной литературы, для которой, например, психоанализ был к этому времени уже не столько шокирующим “поставщиком” новых коллизий, сколько обыденностью. Польская межвоенная проза пользовалась им как методом исследования мотивации человеческого поведения и пыталась установить собственную “меру” художественной его целесообразности.

Польская литература переживала “потребность в определении, какова действительность в отношении к предшествующим мечтам” [1. С. 78]. Проблема психологической и эстетической адаптации встала, в частности, перед прозой, дающей человеку некие сценарии поведения и чувствования. Одной из основных задач польской прозы, в новой исторической ситуации получившей “доступ” к “свободному” конфликту и герою, представляющему самого себя, а не национальные интересы, стало осмысление мотивации и степени свободы поведения человека.

Политическая ситуация послевоенной Польши резко изменила социальную структуру общества, национальное и личное самоощущение, характер и частотность житейских коллизий, приоритеты. Существенным отличием был отход от сверхэмоциональности и пафоса, что вело, с одной стороны, к более глубокому психологическому анализу, с другой – к развитию гротеска (пафос и связанный с ним максимализм – черта прежде всего подросткового сознания, в котором протест является главной формой самоидентификации, – и в межвоенное двадцатилетие польская литература смогла выйти на более зрелый “возрастной уровень”).

Этому способствовала и необходимость отрефлексировать еще свежий военный опыт. Польское его восприятие имеет свою специфику – более позднее распространение пацифистских мотивов, интерес не столько к самим военным действиям, сколько к аспекту психологии или этики: “Граф Эмиль” (1920) и “Роман Терезы Геннерт” (1923/24) З. Налковской (1884–1954); “Награда за верную службу” (1921), “Могила неизвестного солдата” (1922), “Ключи от пропасти” (1929), “Желтый крест” (1932–1933) А. Струга (1871–1937), “Наган” (1928) и “В поле” (1937) Ст. Рембека (1901–1985), “Где ты, дружище?!” (1932) Е. Завейского (1902–1969); “Границы мира” (1933) К. Вежиньского (1894–1969). Возникает устойчивый интерес к поведению человека в пограничных ситуациях опасности, страха, ответственности. В 30-е годы военный опыт используется и для постановки чисто экзистенциальных вопросов (“Вкус мира” (1930) Т. Кудльиньского (1898–1990) и “Смерть под солнцем” (1930) Е. Коссовского), с одной стороны, или как материал для массовой литературы (“Молодость, любовь, авантюра” (1926) П. Хойновского (1885–1935) – с другой.

Необходимое психике человека, травмированной войной, возвращение к заботам жизни выразилось в интересе к повседневности, возросшем к концу 20-х и достигшем пика в 30-е годы – прежде всего в творчестве группы “Предместье” (1933–1937), романе М. Домбровской (1890–1965) “Ночи и дни” (1932). С конца 20-х годов наблюдается интерес прозы к реалиям и психологическим проблемам отдельных социальных кругов, еще вчера остававшихся как бы в тени великих исторических событий: “Люди оттуда” (1926) М. Домбровской; “Святая кухарка” (1930) В. Мельцер (1896–1972); “Страхи” (1938) М. Укневской (1907–1962) и др. Сверхзадачей же автора, как правило, оказывается стремление показать не экзотичность мира и чувств представителя той или иной среды, а, напротив, то, что своим стремлением к счастью и вечными проблемами он похож на читателя.

Таким образом, эта проза выполняет задачу непосредственного освоения новых реалий, типичных психологических схем, т.е. своеобразной “подготовки” к возможному в будущем осознанию этой реальности как части исторического процесса. Не только группа “Предместье”, программно ориентированная на своего рода социопсихологическое исследование по образцу Э. Золя и Б. Пруса, но и ранний Е. Анджеевский (1909–1983), П. Гоявичинская (1896–1963), Ст. Пентак (1909–1964), отчасти Я. Ивашкевич (1894–1980) на различном художественном уровне “набирают материал” для будущего художественного синтеза.

В этих условиях – в отличие от предшествующего периода – прозу привлекает не исключительность человека, а усредненность – это относится в равной степени к “маленькому человеку” “Предместья” и к героям писателей, стремившихся к изображению сложнейших психологических проблем. Следует заметить, что эта тенденция – конкретность и непосредственность наблюдений и переживаний, обращение к повседневности – проявилась сразу же после обретения Польшей независимости, в первую очередь в поэзии. Проза же на этом этапе пытается разобраться в механизмах человеческого поведения, применяя к “среднестатистическим” персонажам те знания о человеческой психологии, которые частично уже были отработаны Молодой Польшей. Проза развивалась в этот период в двух питавших друг друга направлениях. С одной стороны, это социопсихологическое художественное исследование “злобы дня”, с другой – создание самостоятельной философско-психологической концепции бытия, в которую были вписаны все те же реалии времени.

В 30-е годы в прозе “поколения–1910” происходит возвращение к нестандартному – интеллектуальному, но нереализовавшемуся – герою, причем ситуация нереализованности вырастает до масштаба метафизической катастрофы: “Крысы” (1932) и “Нелюбимая” (1937) А. Рудницкого (1912–1990); “Общая комната” (1932) Зб. Униловского (1909–1937); “Трагическое поколение” (1936) М. Руг-Бучковского (1910–1989); “Исповедь” (1937) Ю. Мортон (1911–1994); “Марионетки” (1938) Ст. Отвиновского (1910–1976) и др. Это, очевидно, было реакцией на внеязыковую ситуацию (первое поколение, взрослевшее уже в независимом государстве, наиболее болезненно испытало на себе и большинство его социальных и психологических проблем). Здесь можно говорить и об особом интересе польской прозы этого периода к психологическому феномену потери мотивации – одному из типов социального стресса.

В. Гомбрович (1904–1969) в гротескной форме представляет феномен инфантильности, незрелости уже не как преходящее возрастное или даже поколенческое (как у “поколения–1910”) явление, но как экзистенциальную данность, неотъемлемую человеческую черту. Это одно из важнейших состояний, впервые “отслеженное” тогда польской прозой.

На это же время приходится расцвет прозы, в той или иной мере “моделирующей” поведение человека под влиянием идей Бергсона, Фрейда, Шопенгауэра, Ницше, Джеймса (а в 1934 г. появилась работа польского социолога Ф. Знанецкого о теории общественных ролей), а также уже наработанных западной литературой приемов. В результате разнообразных психоаналитических, бихевиористских исследований, ос-

новывающихся на концепции дуализма личности, игры, маски, власти инстинкта, характера, памяти и прошлого (проза З. Налковской, М. Хороманьского, А. Стерна, А. Грушецкой, А. Тарна, Т. Брезы) и на основе непосредственного опыта жизни, в изобилии дававшей коллизии такого рода, межвоенная проза приходит к идее принципиальной непознаваемости и “замкнутости” человека. Этот мотив встречается во всей межвоенной польской прозе, однако в “Романе Терезы Геннерт”, “Недоброй любви” (1928), “Границе” (1935), “Нетерпеливых” (1939) З. Налковской; “Заговоре мужчин” (1930), “Блендомежских страстях” (1938), “Березняке” и “Барышнях из Волчигов” (1933) Я. Ивашкевича (1894–1980); “Адаме Гривальде” (1936), “Зависти” (1939, изд. 1973) Т. Брезы (1905–1970); “Чужеземке” (1936) М. Кунцевич (1899–1989); “Молчании-леса и твоём молчании” (1931) Зб. Грабовского (1903–1974) он представлен как непреодолимая данность, изначальное состояние чуждости человека любому окружению.

Естественно, что такая проза использовала наработки бихевиоризма (в первую очередь Т. Бреза). Другим путем оказалось создание уникальной гротескной формы – образа героя, представляющего замкнутую герметическую систему (Гомбрович). Следует также отметить, что интуитивно уловленное направление развития психологии, равно как и общее влияние “растворенных в воздухе” философских, научных, эстетических идей на психологически-бытовую прозу – и, в частности, на женскую – было без сомнения существенным как в получаемых прозой импульсах, так и в художественных поисках и результатах.

Итак, 30-е годы – время национально-политической напряженности, экономического кризиса, ощущения нестабильности жизни – принесло в польскую психологическую прозу, быть может, наиболее мрачное из всех этапов ее истории видение мира и человеческой судьбы в нем. Предметом рефлексии теперь все чаще становилась смерть, гипертрофированная память и ее безнадежные попытки повернуть время вспять, затрудненность или невозможность самоосуществления: “Чужеземка” М. Кунцевич; “Заговор мужчин”, “Блендомежские страсти”, “Березняк” и “Барышни из Волчигов” Я. Ивашкевича; “Граф Эмиль”, “Нетерпеливые” и “Граница” З. Налковской; “Зависть” и “Адам Гривальд” Т. Брезы, “Вся жизнь Сабины” (1934) Х. Богушевской (1886–1978); “Неизбежные пути” (1936) и “Покой сердца” (1938) Е. Анджеевского (1909–1983).

В межвоенное двадцатилетие польская проза на различных художественных уровнях вырабатывала языковые средства “эмоционального программирования” [2] поведения, чувствования, рефлексии, т.е. адекватный современному ей пониманию личности психологический язык. Например, в “Коричневых лавках” (1934) и “Санатории под клепсидрой” (1937) Б. Шульца (1892–1942) уникальное видение писателя открывало не столько зависимость индивидуальной психики от социального подсознания с его скрываемым “подпольем” (как у Гомбровича), сколько эстетическую, а значит, и этическую функцию такой зависимости. Если Шульц поэтически вывел тогда на поверхность свет такого “подполья”, то Гомбрович, подобно Босху, извлек – в “Дневнике периода созревания” (1933), рассказе 1937–1938-х годов и романе “Фердыдурке” (1937) – другую, отвратительную его сторону.

Влияние психоанализа и бихевиоризма на межвоенную психологическую прозу, “в присутствии” которых она так или иначе меняла свою оптику, не было лишь внешним, тематическим или даже формальным иллюстрированием отдельных тезисов. Оно касалось стиля и даже шире и глубже – “всего видения мира” [З. С. 156]. И здесь в плане пределов художественной и этической целесообразности обнажения общественного подсознания симптоматично присутствие в польской прозе в тот период двух таких типов образности, как Шульц и Гомбрович. Таким образом, в межвоенное двадцатилетие польская проза не просто внесла в большом количестве новые темы, но и на различных художественных уровнях вырабатывала и вводила в повседневный “оборот” адекватный современному пониманию личности психологический язык.

По словам Л. Гинзбург, “эстетическое качество психологических построений” возникает только там, где начинается “специфическое переживание абсолютного единства и поэтому равноценности знака и значения, переживание значащей формы и оформленной идеи” [4. С. 15]. Литература, создавая особую художественную символику, дает человеку дополнительную возможность переживать и оценивать психологические построения, т.е. психологический язык, который она вырабатывает, – уникальный по выполняемым информационным задачам “аппарат” для отношения человека с миром внешним и внутренним. Естественно, что в этом плане особый интерес представляют элементы поэтики, в формах которой “единицы” этого языка закрепляются. Осваивая новую пространственно-временную структуру мира, польская психологическая проза межвоенного периода готовила психологический язык для осознания многовариантности бытия, переживания свободы, риска и относительности выбора и по-новому предстающей в этом вероятно-случайном мире этической ответственности человека. Особый интерес при взгляде на массив прозы этого периода вызывает широкое использование ею всех уровней художественности ретроспекции и хронологической петли, мотивируемых законами ассоциаций или необходимостью заинтриговать читателя, конструкций, связанных с сужением реального настоящего фабулы и интенсификацией самого переживания времени за счет памяти: “Новая любовь” (1930) Я. Ивашкевича; “Чужеземка” М. Кунцевич; “Вся жизнь Сабины” Х. Богушевской; “Покой сердца” Е. Анджеевского; “Ревность и медицина” М. Хороманьского и т.д. Совершенно очевидно, что все это было связано с общим интересом к проблемам времени и памяти, вошедшим в быт и сознание рядового, “статистического” человека XX столетия, от жизненных выборов которого реально зависела историческая судьба человечества.

Основной функцией пространства оказывается переживание гармонии или ее отсутствия в отношениях с миром. Широко распространена игра с изменением психологической “окрашенности” одного и того же пространства в рамках одного текста. Новым представляется художественное осмысление проблемы “своего” и “чужого” психологического пространства в душевной жизни. Кроме того, акцент постепенно переносится с восприятия дома как символа Польши на переживание дома как места, где формируется психика и судьба – т.е. опять же освоение “нормальности” свободного существования в мире.

Освоение новой пространственно-временной структуры повлекло тогда за собой и иное, чем прежде, понимание роли сновидений и памяти в человеческой жизни. Естественно, широко распространяется концепция сна как раскрепощения подсознания, актуализации всего внутреннего опыта (проза Я. Ивашкевича, З. Налковской, Зб. Грабовского, А. Рудницкого, романе воспитания). М. Кунцевич, Я. Ивашкевич, Е. Анджеевский обращаются также к известному психиатрии феномену подчинения психики возрастающей психической силе нереализованного желания. Не случайно польская проза дает в это время такой феномен, как творчество Шульца, которое построено, в сущности, по законам сна. Видимое понимается им как некая – параллельная обыденной – реальность, имеющая сходный со сновидением механизм ассоциаций. Новой оказывается и концепция эстетического переживания как такового: оно нередко трактуется как средство психотерапии.

Меняется характер метафоры и символов, представляющих собой емкую и содержательную микромодель личного видения. В творчестве же Б. Шульца используется прием буквальной реализации метафоры. В основе его прозы лежит сложный сплав изошренного художественного видения, воплотившего в слове живописные языки своего времени, детское видение и воображение, а также, очевидно, психологию национального маргинала с ее защитными реакциями. (В этом плане фигуры Кафки, Шульца, Шагала не просто типологический ряд культуры XX в., но определенная проблема психологии или антропологии культуры.)

Как часть европейской литературы польская межвоенная проза переживала в рамках собственных исторических условий общий для западного мышления XX в.

процесс формирования нового переживания реальности. И жанровые поиски этого времени отражают конкретные формы новых возможностей художественного мышления, когда самый “феномен сознания или подсознания”, попадая в поле зрения прозы, оказывается структурообразующим элементом – так, например, возникают наряду с традиционными жанрами так называемые “роман одного героя” или “роман одной проблемы”.

Как всегда в переломный период, популярен мобильный жанр – рассказ (З. Налковская, Я. Ивашкевич, М. Домбровская, М. Хороманьский, К. Вежиньский, Э. Неглерова). Роман в рассказах, (“Коричные лавки” и “Санатория под клепсидрой” Б. Шульца, “Дневник периода созревания” В. Гомбровича), роман-повесть (проза “поколения–1910”), рассказ-повесть (проза Я. Ивашкевича), характерные для польской психологической прозы этого периода, – все эти жанровые поиски сложно отражают изменения, происходящие в самом характере переживания и осмысления жизни.

Психологическая проза в каждый данный момент истории работает, прежде всего, на “покрытие” дефицита эмоциональной сферы. Вводя в культурное сознание новые темы, новые коллизии, новых героев, она не просто переводит недифференцированные чувственные и интеллектуальные переживания в упорядоченную структуру, но создает языковые средства для описания и понимания этих переживаний. Опыт польской прозы межвоенного двадцатилетия в масштабах европейской литературы интересен, очевидно, в первую очередь именно этим.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Masiąg W.* Rok 1918 albo glód realizmu // Problemy literatury polskiej lat 1890–1939. Warszawa, 1974.
2. *Бурлаков И.* “Парфюмер” и “Анна Каренина” (Бестселлер с точки зрения психолога) // Литературная газета. 11 VI 1997 г. № 23 (5656).
3. *Burkot St.* Od psychoanalizy klinicznej do literatury // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace historyczno-literackie. Kraków, 1978. T. VII.
4. *Гинзбург Л.Я.* О психологической прозе. Л., 1971.



© 2003 г. Л. БУДАГОВА

ЧЕШСКИЙ СЮРРЕАЛИЗМ. ДИНАМИКА И ФУНКЦИЯ

Обратиться к этой теме автора статьи побудили следующие мотивы: прежде всего, чешский сюрреализм выводит на ту область литературных связей, которая ясно показывает, что в XX в. славянские литературы (в данном случае речь идет о чешской) становятся равноправными партнерами западноевропейских в системе межлитературных коммуникаций и не только используют чужой опыт в своей практике, но и предоставляют собственный опыт другим. Кроме того, с сюрреализмом связано творчество и многие художественные открытия одного из крупнейших поэтов прошедшего столетия Витезслава Незвала, чей “рейтинг” по политическим причинам падает на родине, что противоречит его объективному вкладу в мировую культуру. Говорить же о литературных итогах XX в., обходя молчанием это имя или ассоциируя его с одними лишь социалистическими иллюзиями эпохи, – значит погрешить против истины. Наконец, к сюрреализму вообще (и чешскому, в частности) привлекает то упорство, с которым он цепляется за жизнь. Это наиболее стойкое из международных авангардных течений. Громко заявив о себе в начале 20-х годов (А. Бретон. Манифест сюрреализма, 1924), оно прослеживается вплоть до сегодняшнего дня. Доказательством чего служит хотя бы пражский журнал “Аналогон”, посвященный проблемам сюрреализма, психоанализа, структурализма. Другие течения авангарда, сыгравшие огромную роль в обновлении искусства XX в. – футуризм, конструктивизм, экспрессионизм, дадаизм и др. – сообщив свои идеи и импульсы мировой литературе, как бы растворились в ней, давно сойдя со сцены как течения, хоть и продолжая присутствовать в писательском творчестве элементами своих поэтик. Сюрреализм же неустанно напоминает о себе не только вкладом в искусство XX в., но как течение, не растерявшее по сей день своих программ, концепций и сторонников.

Если обратиться к истории сюрреализма, можно проследить, как ему все время что-то помогало удержаться на плаву. Так, в конце 20-х годов, когда французский (классический, “бретоновский”) сюрреализм переживал кризис, когда его ряды стали редеть (удел авангардных течений) и их покинул такой яркий и талантливый писатель, как Луи Арагон, сюрреализмом заинтересовался лидер чешского авангарда В. Незвал. Ему импонировали не только интерес сюрреализма к подсознанию, способному, активизируясь, изгнать из искусства рассудочное начало (ненавистное самому Незвалу), но и политические взгляды сторонников сюрреализма. К рубежу 20–30-х годов он существенно “левее” под влиянием обострившейся ситуации в мире. Стремление А. Бретона вершить “Сюрреалистическую революцию” (название журнала 1924–1929 гг.) сменяется готовностью поставить “Сюрреализм на службу революции” (название журнала 1930–1933 гг.). Однако заинтересовавшись сюрреализмом, Незвал не спешил перейти

Будагова Людмила Норайровна – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, руководитель Центра истории славянских литератур до 1945 г.

разделяющую их грань. Еще в декабре 1930 г. он писал: “При всем своем восхищении Андре Бретоном, я не считаю себя сюрреалистом” [1. S. 333]. Его смущало размывание сюрреализмом границ между искусством и неискусством, отождествление любого спонтанного самовыражения (“автоматического текста” на языке Бретона) с творческим актом, чрезмерный крен в подсознание. Противоречия между Незвалом и Бретоном были противоречиями между большим поэтом, художником, не чуждавшимся психоанализа, и психоаналитиком, не чуждавшимся поэзии. Но в конце концов Незвал присоединяется к сюрреализму, не сняв этих противоречий, а просто закрыв на них глаза. Из противоречий явных, мешавших Незвалу считать себя сюрреалистом, они превратились – до поры до времени – в противоречия скрытые, определявшие своеобразие чешского сюрреализма, его, грубо говоря, непоследовательность и умеренность.

Создание Незвалом в марте 1938 г. группы чешских сюрреалистов (кроме Незвала туда вошли поэт К. Библ, режиссер И. Гонзл, композитор Я. Ежек, художники И. Штырский и Тоайен, чуть позже – эстетик и критик К. Тейге и др.) реанимировало начинавшее иссыхать идеями и людьми международное движение, вдохнуло в него новую жизнь. Время активности пражской сюрреалистической группы (1934–1938) можно считать расцветом сюрреализма как такового, периодом, когда он встал на службу поэзии, расширив ее границы и возможности. В чешской, незваловской, интерпретации сюрреализм, легализуя в качестве поэтического текста все, что выплеснулось на бумагу, помогал поэтам избавиться от мук слова, освобождал поэзию от “бремени логики”, “абсолютного рационализма”, развивал в ней импровизационно-лирическое начало, интенсифицировал воображение, “образотворность”, продолжив в этих своих тенденциях поэтизм, который в 30-е годы стал осознаваться как “интуитивная стадия сюрреализма”.

Незвал всегда подчеркивал, что чешские сюрреалисты не повторяют, а развивают сюрреализм французский. И они действительно развивали его, но порой как бы в обратном направлении – не в безоглядные дали авангардизма, а назад, в сторону искусства традиционного, с большим, чем допускал Бретон, доверием к сознательному, разумному началу в творчестве. Незвал оспаривает сюрреалистический метод “чистого психического автоматизма”, считая, что он попросту невозможен, отвергает разного рода запреты на предварительный замысел, на метрические размеры и рифму, защищая осмысленность творческого акта. Страшась новых диспропорций между разумом и абсолютной бесконтрольностью эмоций и фантазии, – теперь уже за счет не умоглядности, а погружения в “темные глубины подсознания”, чреватого растворением искусства в психологическом эксперименте, Незвал подчеркивает, что поэзия – “совокупность сознательных и бессознательных стремлений поэта” [2. S. 301].

Но все это не мешает дружбе и сотрудничеству чешских и французских сюрреалистов, переживавших тогда чуть ли не лучшие свои времена. А. Бретона восторженно принимают в Праге в марте-апреле 1935 г. Его лекции в “Манесе” (общество и кафе пражских живописцев и деятелей культуры) посетили семьсот человек; на выступлении лидера сюрреализма, организованного Левым фронтом, присутствовали триста пятьдесят человек; на философском факультете Карлова Университета Бретона слушали двести пятьдесят студентов, тогда как лекции самого Анри Бергсона в Сорбонне собирали всего человек пятьдесят. В Брно Бретон выступал перед полутысячной аудиторией. П. Элюар, сопровождавший А. Бретона, писал в Париж: “Здесь мы гораздо более знамениты, чем во Франции” (см. об этом: [3. S. 7]). И все это разыгрывалось на фоне решительного неприятия сюрреализма в Москве, куда Незвал приезжал в августе 1934 г. с целью пропагандировать свое новое увлечение, и полного равнодушия к сюрреализму на его французской родине. В русском изложении речи поэта на Первом съезде советских писателей слово “сюрреализм” либо опускалось, либо бралось в кавычки, как нечто неприличное. Но в Москве чешского сторонника сюрреализма хотя бы выслушали, правда, чудовищно переиначив его выступление и выпятив в нем политические моменты. Об этом свидетельствовали уже сами заголовки заметок о Незвале в “Правде” 30 августа 1934 г. – “Воплощать в жизнь великие идеи товарища Сталина”, в “Известиях” 1 сентяб-

ря – “За поэзию великих идей”, в “Литературной газете” 6 сентября – “Рабочие имеют отечество”. Во Франции, на парижском конгрессе антифашистских сил в 1935 г., сюрреалистам вообще не дали слова – ни Незвалу, ни Бретону. Все это подчеркивает уникальную роль Чехии и Праги в пропаганде идей сюрреализма в 30-е годы.

Но золотое время для чешского, а через его посредничество и французского сюрреализма длилось недолго. В марте 1938 г. Незвал распускает группу чешских сюрреалистов по политическим причинам, а именно за критику членами группы – К. Тейге, И. Штырским, Тоайен и др. – московских политических процессов против бухаринцев и троцкистов. По мнению Незвала, эта критика ослабляла единый антифашистский фронт и была на руку реакционерам. Незвал слепо доверял Москве и официальной советской пропаганде. Здесь проявилось еще одно – уже не в пользу чешского поэта – различие между ним и Бретоном. Если Бретон был ортодоксальнее и догматичнее Незвала как эстетик, то Незвал был ортодоксальнее и догматичнее Бретона в политической сфере.

Однако мотивы, по которым Незвал, вечно ищущий что-то новое (пусть даже в области полузабытого старого), распустил группу, можно рассматривать лишь как внешний повод для того, чтобы расстаться со слегка поднадоевшим увлечением, сменить манеру письма. В конце 30-х годов, в период угрозы фашизма, Незвал, желая быть услышанным, испытывает острую потребность вернуться, не пренебрегая и опытом сюрреалистических исканий, к более ясному и прозрачному стиху, которую он реализует в стихах патриотического сборника “В пяти минутах от города” (1939), отличающегося классическими размерами и формами от свободных импровизаций сюрреалистического периода (сб. “Женщина во множественном числе”, 1936, “Прага с пальцами дождя”, 1936, “Абсолютный могильщик”, 1937 и др.).

Ликвидаторский жест Незвала, который чешские последователи авангарда не могут ему простить до сих пор, был не в силе отменить целое художественное течение. Чешский сюрреализм просто отныне вступил в другую фазу своего существования. Лишившись такого мощного лидера, как Незвал, он становится периферийным течением чешской литературы. Однако словно по закону компенсации с конца 30-х годов набирает силу словацкий надреализм, во многом вдохновлявшийся чешским движением. Словацкие надреалисты посвящают стихи сербу Ристичу и чеху Незвалу, а много лет спустя, уже в 1981 г. словак Ш. Жары, одна из виднейших фигур словацкого надреализма, издаст книгу “Стобашенный поэт”, где с благодарностью расскажет о роли Незвала в своей творческой судьбе.

Если 30-е годы можно считать “незваловским” этапом чешского сюрреализма, то с конца 30-х годов начинается “постнезваловский” этап сюрреализма, к которому подходит эпитет “вялотекущий”. И эта “вялость” обусловлена не только разрывом большого поэта с этим течением, не только тем, что с уходом Незвала из чешского сюрреализма как бы ушла его поэтическая душа, но и изменившимися историческими условиями – немецко-фашистской оккупацией и особенностями культурной политики в послевоенной Чехословакии. “Постнезваловский” этап – с видоизменениями чешского сюрреализма под давлением обстоятельств и присоединявшихся к нему личностей – продолжается по сей день.

Во время войны чешский сюрреализм находит поддержку среди молодежи, в частности, в деятельности группы споржиловских сюрреалистов (Споржилов – район Праги), куда входили поэт и психоаналитик З. Гавличек (1922–1969), сын известного прозаика Я. Гавличека; поэт Р. Альтшуль (1927–1945), автор рукописных сборников “Последний час”, “Война 1944”, погибший в концлагере, и др. Возникает группа Ра, базировавшаяся в Брно и названная по имени издательства, появившегося в конце 30-х годов в Раковнике. С ней были связаны поэт Л. Кундера (р. в 1920 г.), старший брат М. Кундеры, художник Й. Истлер и др. В 1942 г. здесь издается сборник “Растрепанные куклы”, помеченный, чтобы сбить с толку цензуру, 1937 г.

Верность сюрреализму хранят К. Тейге, И. Штырский, Тоайен. Поэт И. Гейслер (1914–1953), вступивший в группу чешских сюрреалистов весной 1938 г., пишет тек-

сты к циклам рисунков Тоайен, скрывавшей его от гестапо (“Из казематов сна”, 1941 г., “Стрельбище”, 1941 г., “Спрячься, война”, 1941 г.), фотографиям И. Штырско́го (альбом “На иглах этих дней”, 1941 г.), пишет стихи, составившие сборники “Далеко за линией фронта” (1941), и др. Поднятая во время войны “младосюрреалистами” (определение М. Направника) новая волна сюрреализма волется в послевоенную чешскую культуру. Если в 30-е годы в масариковской Чехословакии он развивался свободно, то в послевоенные годы, вплоть до “бархатной” революции (1989), переживает короткие периоды легализации (1945–1947, 1968–1969) и длительные – запретов и преследований.

Редеют ряды сюрреалистов с довоенным стажем. Гибнет на плахе эстетик и теоретик искусства, член довоенной группы сюрреалистов, З. Каландра. Он был арестован по обвинению в заговоре против республики и казнен 27 июня 1950 г. В его защиту выступили А. Бретон, А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Эрнст, но это не помогло. Элюар отказался присоединиться к защитникам Каландры, несмотря на страстные призывы Бретона, объясняя это тем, что не может защищать “виновных”. Против Каландры в Праге 50-х годов выдвигались столь же абсурдные обвинения, как когда-то в Москве в 30-е годы против узников сталинских застенков.

Надо сказать, что соотечественники как бы сами напророчили Каландре его несчастную судьбу. Высмеивая абсурдность московских политических процессов и стилистиче-скую обвинительных заключений, авторы апрельского номера журнала “Светозор” за 1937 г. поместили в нем пародийную заметку о том, что якобы “ГПУ раздавило гнездо ядовитых гадин”, что “троцкисты-террористы-нигилисты приперты к стенке”, что “бандит Завиш Каландра” под тяжестью неоспоримых улик признался, что это он “убил Пршемысла Отокара II на Моравском поле”, что это он возглавлял “организацию, которая в заговоре с Милотой из Дедиц хотела отторгнуть альпийские земли от Короны чешской”, что и огласил в своем приговоре генпрокурор на открытом судебном заседании. Этот текст в 1969 г. перепечатал из “Светозора” журнал “Аналогон” (№ 1), поместив его в рубрике “Насмешка истории” рядом с документальным, но не менее абсурдным отрывком из обвинительной речи прокурора, д-ра Й. Урвалака, на процессе “руководителей преступного заговора против республики” (М. Гораковой и др.), где говорилось о том, что Каландра признался в шпионаже, в стремлении “подорвать чехословацкую экономику” из-за “ненависти к рабочему классу и социализму”. Таким образом, сюрреалисты 60-х годов наглядно показали, что бред далеко не всегда порождается болезненным сознанием, что бредом порой становится сама жизнь.

В 1951 г. прямо на улице, на площади Арбеса, умирает возвращавшийся с очередного допроса К. Тейге, с которым власти обещают поступить так же, как с Каландрой. После кончины Тейге послевоенное сюрреалистическое движение возглавляет В. Эффенбергер (1923–1986), поэт, искусствовед и критик, автор многих рукописных и самиздатовских сборников. Некоторые вещи Эффенбергера были опубликованы за рубежом. В Чехии при его жизни вышла лишь книга “Стихи на стенах” (1966). В 1987 г. увидела свет за рубежом антология его поэзии “Охота на черную акулу”.

Его соратниками по послевоенной группе сюрреалистов были поэт К. Гинек (1925–1953), поэт, прозаик, теоретик искусства М. Направник (род. в 1931 г.) и др. Эффенбергер старался использовать все потепления в политическом климате Чехословакии для легализации и пропаганды сюрреализма. Он выступает с лекциями, составляет магнитофонные записи сюрреалистической поэзии, издает сборник “Исходная точка зрения сюрреализма. 1938–1968” (Прага, 1969), куда входят тексты сюрреалистов, статьи, анкеты. В 1969 г. основывает журнал “Аналогон” и участвует в составлении Пражской платформы – совместной декларации групп сюрреалистов Парижа и Праги. Подтверждая многие основополагающие принципы сюрреализма (автономность и спонтанность творческого акта, обращение к “темным сферам человеческой психики” и т.д.), она вписывала его в контекст 60-х годов, соотнося сюрреализм с новым историческим опытом и расширяя его общественные функции. Если в 30-е годы подчеркивался антибуржуазный пафос сюрреализма, считавшего ус-

ловием “полного освобождения человека” его освобождение от гнета капитала, его социальные свободы, то отныне он заявляет о своей готовности бороться против разных форм и проявлений любых “репрессивных систем”, против “тоталитарных режимов”, подавляющих человека, его менталитет и речь, ведущих к “обесцениванию” слов и образов, в чем повинен не только Запад, но и сталинизм, “коррупция идей, прикрывающая свои наихудшие формы самыми высокими словами”.

Изменился характер и пафос чешского сюрреализма: уходит свойственный ему в 30-е годы исторический оптимизм, он становится пессимистичнее по мироощущению, а “сюрреальное” отождествляется уже не с “невыразимой поэзией”, как во многих произведениях Незвала, а с абсурдностью бытия. Если у Незвала главными чувствами были восторг и упоение жизнью, то у Эффенбергера – скепсис, а воображение начинает выполнять в творчестве не поэтическую, а критическую функцию. Оно уже не противостоит разуму, рассудку, а стремится отразить его убогость. Творчество чешских сюрреалистов 50–60-х годов обретает трагическое звучание. Это особенно характерно для З. Гавличека, часто обращавшегося к политическим мотивам. Балансируя на грани реальности и сна, конкретных впечатлений и фантазии, вовлекая в метафорические ряды разноплановые образы, мастерски используя технику сюрреализма, он показал безрезультатность социалистических надежд, оценив эру “диалектического материализма” как “шизофрению истории” (сб. “Кабинет доктора Калигари”, 1951).

Выйдя из подполья в современный постсоциалистический период, чешские сюрреалисты занимаются популяризацией творчества своих сторонников, историей международного сюрреалистического движения, вопросами психологии личности (страницы журнала “Аналогон”, запрещенного после выхода своего первого номера в 1969 г., но возобновившегося в 1990 г.). Однако сюрреализм проявляется уже не столько как живое художественное течение, сколько как своего рода сфера постоянных напоминаний о тех творческих принципах, которые необходимо поддерживать и развивать, поскольку они отвечают природе и специфике искусства.

Ключевые категории сюрреализма – “свобода”, “абсолютный нонконформизм” – из ряда понятий, которые высоко котируются в искусстве XX в. “Бретон – фанатик свободы”, – говорил Незвал. “Меня может взволновать лишь слово свобода”, – писал сам Бретон. “Освобождение человеческого духа” – тоже из лексикона сюрреалистов. Однако к этому “освобождению” (раскрепощению творческого субъекта, его суверенизации от служебных функций) искусство активно стремится со времен романтизма. Этой же задачей были озабочены и многие течения модернизма и авангарда. Особенность сюрреализма в том, что он пытается углубить этот процесс, перевести его на уровень психологии творчества, изыскивая способы сопротивления художника не только разным формам внешней общественной цензуры, но и пути к ослаблению цензуры внутренней, которая, завладевая душой человека, порой заставляет его “наступать на горло собственной песне”, приспосабливаться к обстоятельствам, ломать себя. В ограничении и преодолении внутреннего самоконтроля, цензуры рассудка (через раскрепощение и активизацию подсознания, этой непредсказуемой “кухни поэтического воображения”, без которого искусство немислимо) – важная функция сюрреализма. Он как бы пытается настраивать человека и художника на творческую волну. Вероятно, в этом стремлении пробуждать в людях творческие силы, раскрывать, изучать и культивировать необходимые для искусства качества и таится секрет долголетия сюрреалистического течения, живущего – и во многом благодаря активности его чешских сторонников – уже добрых восемь десятков лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Nezval V. Dilo XXIV. Praha, 1967.*
2. *Nezval V. Dilo XXXI. Praha, 1958.*
3. *Naprvnik M. André Breton a Praha // Literární noviny. 13 listopadu 1996.*



© 2003 г. А. МЕНЦВЕЛЬ

МОЙ ВЗГЛЯД НА XX ВЕК

Чем, в сущности, был XX век? Почему мы придаем его завершению символическое значение? Новогодняя ночь 2000/01 ничего не изменила – будь то в космосе, на земле, в человеческой жизни. Даже католическая церковь, которая отмечает год и в самом деле юбилейный, не предполагала, что назавтра нам явится Святой Город – Новый Иерусалим. Однако издавна круглые даты порождали коллективные эмоции и надежды. Средневековые хилиасты вдохновили утопистов Нового времени, конец прошлого века породил декадентство. На этот раз – ничего подобного: ни великих провидений, ни чудесных надежд, ни глубоких разочарований. Глобализация нас отпугивает, европейская интеграция привлекает, мы отстраненно обсуждаем и то, и другое. Слово *конец XX в.* – факт хронологический, которому лишь всемогущая ныне реклама придаст символическое значение.

Хорошо, если так. В особенности это порадовало бы культуролога. Он освободился бы от традиционных параметров – формального деления (на тысячелетия, столетия, десятилетия...), политической периодизации (Первая мировая война, межвоенное двадцатилетие, Вторая мировая война, холодная война...), стилистической систематизации (классицизм, романтизм, позитивизм...) и т.д., и т.п. История культуры, как утверждал Фернан Бродель, не идентична истории событий – это история долговременная, многоплановая. Но все это не относится к XX в., особенно если речь идет о Польше, а быть может, и обо всей Центральной Европе. Здесь человек более восприимчив к магии этого многозначного числа. Значения его легко увидеть, перебрав заглавия нескольких вышедших в последние годы серьезных исторических исследований: “Польша в Европе”, “Более молодая Европа”, “Погоня за Европой”, “Возвращение Европы”. Один из выдающихся современных историков сказал, что наша позиция по отношению к Европе по-прежнему – на исходе второго тысячелетия точно так же, как на исходе первого – является позицией отправной. Тогда речь шла о полном включении в орбиту Рима, теперь – Брюсселя. Для достижения первой цели нам понадобилась тысяча лет, будем надеяться, что вторая задача будет решена быстрее. Во всяком случае, ясно, какой смысл мы вкладываем в понятие XX в.: европеизация, цивилизация, модернизация. Впрочем, все они для нас синонимичны – как в разговорном языке, так и в том, который считается научным.

В то же время польский (а также центрально-европейский) XX в. представляет собой очень сложную структуру, включающую архаические временные слои. Летом я часто езжу в деревню по шоссе, когда-то называвшемся Петербургским трактом, а теперь именуемом *Via Baltica*. Поскольку эта дорога соединяет Польшу, а также Западную Европу с прибалтийскими государствами, вдоль нее быстро выра-

Менцвель Анджей – профессор, директор Института польской культуры Варшавского университета.

стают мотели, автостоянки и бензозаправки. Однако под Островой Мазовецкой обочины оккупируют грибники: дети, женщины, старики, а порой и целые семьи продают грибы, собранные в Бялой Пуще. В Париже, на рю де Сен, тоже можно купить грибы – не только шампиньоны, но и белые. Выглядят они так, будто выращены на продажу, но приятель уверял, что грибы настоящие, лесные. Возникает вопрос: чем же отличается Париж от Острова Мазовецкой? Разница огромная – как между современным и архаикой. Парижский продавец – современный бизнесмен, а его ларек – звено глобальной торговли, в то время как жители Острова живут тем, что соберут в соседнем лесу. Другими словами, это пережиток позднего палеолита, ведь именно тогда доминировало хозяйство, основанное на сборе даров природы и охоте.

Это только один пример многочисленных временных наслоений XX в. Все перечислить невозможно, более того, они до сих пор как следует не изучены, хотя тема это необыкновенно интересная. Наше историческое время подобно огромному геологическому бассейну. Так, если говорить об исторических пластах, у нас всегда – XX в. не стал в этом смысле исключением – был актуальным и другой архаический слой, а именно имперский. Двое наших соседей – Германия и Россия, – считая себя законными наследницами Рима, пытались построить мировые империи. Идеология тысячелетнего рейха (претендовавшего на всеохватность) восходила к идее немецкого народа Римской Империи подобно тому, как утопия Союза Советских Республик (в перспективе всемирного) опиралась на идею Третьего Рима. Сегодня эта идеология и эта утопия, очевидно, погребены навеки, уступив на нашем континенте и в нашей стране место восходящему к древнегреческому полису образу федерации самоуправляемых сообществ. К несчастью, империи противоборствовали именно на территории Польши, и память об этих столкновениях по-прежнему жива и порой заслоняет другие формы сознания. Словно анахроническое имперское время все еще господствует в нас. Но, к счастью, не над нами.

Но именно оно породило главные польские проблемы XX в. – государственной независимости, модернизации народа, преобразования структуры общества. Вопрос о причинах разделов первой Речи Посполитой – пали ли мы по собственной вине (главным образом, вследствие шляхетской анархии) или же в силу враждебности соседей (т.е. имперского насилия) – никогда не будет разрешен. Речь Посполитая начиналась великолепно – и как первая в истории федерация равноправных монархий (Польши и Литвы, а в перспективе и Руси), и как государство полиэтничное и поликонфессиональное, “государство без костров”, и как демократическая, культивирующая римское наследие *res publica*. Однако то, что было источником величия, стало причиной упадка – я имею ввиду то, что гражданские права имела лишь шляхта. Правда, самая многочисленная в Европе, но становившаяся все более элитарной и эгоистичной. Размышляя о причинах слабости нашего сегодняшнего “третьего сословия” (проблема Франции XVIII в.) или “среднего класса” (проблема Германии XIX в.), современный историк вынужден обращаться как к первой Речи Посполитой, так и к разделам Польши, поскольку Российская империя упорно поддерживала в обществе анахронизмы. Еще в 1866 г. почти 60% (а точнее – 59%) городов так называемого Королевства Польского принадлежало феодалам, а городское самоуправление на этой территории было введено лишь в 1915 г. И Союз, название которого – Советский – происходит от “советов” – органов самоуправления, не стал колыбелью гражданских прав. Вот один из источников наших синонимов: “цивилизация” для нас равнозначна “европеизации”, поскольку от средневековья “Европа” как культура идентична *societas civilis*, а “европеец” означает “гражданин”.

Негативное наследие шляхетской Речи Посполитой и последствия разделов привели к тому, что в нашем XX в. преобладает проблематика прошлого столетия. Как вернуть государству независимость и упрочить его, каким образом сбросить оккупационное ярмо, как освободиться от имперского господства? И как объединить разные части этого государства, как слить воедино членов его постоянно меняющейся

территории? Как преобразовать или “создать заново народ” – преодолеть влияние оккупантов, засыпать социальные пропасти, этнические меньшинства превратить в граждан? Все эти задачи – быть может, за исключением последней, – Западная Европа решала в XIX в., если не раньше. Напомним, что в Женевской республике в 1539 г. было введено первое в мире обязательное школьное обучение. Республика соединенных провинций Нидерландов, породившая поистине *embaags de ridders* голландского XVII в., была создана в 1588 г. Централизацией французское государство обязано монархии, а демократизацией – последствиям революции. Опуская примеры из истории Бельгии, Италии и Германии XIX в. и переходу, наконец, к культуре. Ведь речь идет о том, что в XX в. господствуют не только архаические политические задачи, но и аналогичные формы ментальности и культурные проблемы. Стефан Жеромский и Станислав Выспяньский, Яцек Мальчевский и Леон Шиллер, Мария Домбровская и Ярослав Ивашкевич, Тадеуш Конвицкий и Анджей Вайда – все они понятны лишь в контексте этих вопросов. Они пытаются решить их и решают, но не выходят за их пределы.

Я не сторонник идеи Мария Янион о двухсотлетнем (до 1989 г.) господстве в Польше романтической культурной парадигмы. Если такая парадигма и доминировала в польской культуре, то это происходило в XIX в. По крайней мере, начиная с рубежа веков, предпринимались удачные попытки ее преодолеть, а XX в., в своем самом современном слое, породил новые и оригинальные позиции. Историю нашей модернизации, отнюдь не сводимую к примитивному прогрессизму, еще предстоит написать. Ее главы уже различимы: рубеж веков (1890–1914) с его промышленно-урбанистической динамикой, с одной стороны, и небывалым разрастанием общественно-образовательной ткани – с другой; идеи модернизации и кооперации, возникшие и реализовавшиеся в межвоенные годы; идея распространения культуры в массах, родившаяся во время войны и оккупации. Отдельный том – драматургия польских идей последней половины века в стране и в эмиграции. Ее понимание и оценка требует вдумчивости, в ней нужно видеть общественную историю культуры, а не идеологическую историю политики, чему никак не способствует навязчивая тяга к люстрации.

На самом деле, в течение всего XIX в. в Польше (а также в Венгрии и в меньшей степени у других соседей) мы наблюдаем специфическое чередование романтических и позитивистских позиций, имеющих, несмотря на модификации, сходную структуру. Речь идет именно о позициях, а не о литературных течениях, художественных стилях или философских направлениях. Романтик у нас не только поэт-мечтатель и философ-спиритуалист, но и представитель религиозного мессианства и политической ирреденты. Точно так же позитивизм – это не только философский сциентизм (менее всего!), но и художественный натурализм и политический реализм. Особенно характерен и неоднократно был отмечен прежде всего политический аспект этого чередования – романтики *versus* реалисты. В особенности этому способствовала выразительность исторических пар, его олицетворяющих: Тадеуш Костюшко и Станислав Аугуст Понятовский, Петр Высоцкий и Ксаверий Друцкий-Любецкий, Ромуальд Траугутт и Александр Велепольский.

Не в том дело, что это, с одной стороны, предводители восстаний, а с другой – политические оппортунисты. Важно, что это два противоположных варианта одной и той же, в сущности, позиции, отмеченной стигматом долгой неволи. Неосознанно она предполагает, что мир и действительность есть некая данность, что условия определены и неизменны. Возможен лишь бунт, который ни к чему не приводит, или же попытка адаптации. А. Вайда великолепно показал это в своей киноверсии “Свадьбы”: на стыке владений трех императоров встречаются чужие дозоры, которые и держат в своих руках власть – и над бунтовщиками, и над смирившимися. Следует помнить, что Юзеф Коженевский, выбрав сначала английский флот, а затем английскую литературу, избежал не только этих дозоров, но и самой альтернативы. Можно сказать, что под именем Джозефа Конрада он принял участие в создании ми-

ра, формировании действительности и определении условий. И хотя сперва его обвиняли в предательстве, во время войны и сразу после “конрадизм” стал синонимом “верности”.

Ежи Гедройц, основав в эмиграции свой институт, журнал “Культура”, спрашивал не только, что можно сделать для Польши, – он спрашивал, что можно сделать для Европы. В 1950 г. мечта о независимых (т.е. самоуправляемых) Украине, Белоруссии и Литве представлялась фантазией. Эта фантазия, разумеется, связывалась с идеей независимой и демократической Польши, занимающей свое место в европейской федерации. Мечтательство Е. Гедройца и Ю. Мерошевского – публицистического столпа “Культуры” – имело не только политический, но и культурный характер. Они лучше, чем кто-либо другой в то время, понимали, что осуществление этих мечтаний требует определенных внешних и внутренних условий. Внешнее условие – изменение ялтинского порядка (что казалось недостижимым). Внутреннее – перестройка традиционной польской ментальности в самых разных ее вариантах (задача также непростая). По счастливому стечению обстоятельств – а также благодаря заслугам Гедройца – “Культуре” помогали выдающиеся писатели. Творчество Витольда Гомбровича и Чеслава Милоша представляет собой проект иной польскости. Названия их произведений – “Трансатлантик” и “Семейная Европа” – уже не кажутся бунтарскими, какими они были полвека тому назад. Сегодня эти определения прочно вошли в наш язык.

Оставив в стороне архаические наслоения времени, зададимся вопросом – что в ХХ в. является одновременно специфическим и универсальным? И что, следовательно, позволяет нам выделить этот период не формально, а по существу? Ответ на этот вопрос – что не характерно для истории – однозначен. Специфика и одновременно универсальность ХХ в. определяется проявлением зла – если не абсолютного, то радикального. Это радикальное зло – убийство людей, геноцид, Холокост, *l'univers concentrationnaire*. Можно возразить, что убийства совершались с самого начала нашей истории и известно достаточно примеров геноцида целых народов. Но лишь в ХХ в. эти преступления приняли массовый, промышленный и одновременно идеологический характер. Холокост, являющийся их крайней формой, как прагматически, так и этически совершался “вне добра и зла”. Перед лицом этого зла вопрос, представлял ли он собой пароксизм цивилизации или извержение варварства, напрашивается сам собой. Отвечая на этот вопрос, одни аргументированно призывают посадить на скамью подсудимых цивилизацию, другие – столь же аргументированно – варварство.

Цивилизация – это Просвещение, Просвещение – это европейский рационализм, европейский рационализм – это действие разума не только по отношению к природе, но и к обществу, превращаемому в вещь, объект инженерных манипуляций. А газовые камеры Аушвица – просто следствие подобной позиции. Таковы вкратце предпосылки первого диагноза, восходящего к его классическому варианту, изложенному в “Диалектике просвещения” Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера. Диагноз этот в конце ХХ в., т.е. спустя полстолетия, стал расхожей формулой для так называемых постмодернистов. В литературе его выразил Тадеуш Боровский, который в “Лагерных рассказах”, как никто другой – ни до, ни после – создал потрясающий, целостный в художественном отношении образ всеобщей инструментализации мира вещей и людей. Напомним, что первое издание “Диалектики Просвещения” появилось в 1947 г. в Нью-Йорке, а “Прощание с Марией” – в 1948 г., в Варшаве.

Второй ответ более сложен и менее – во всяком случае, в последнее время – популярен: наблюдаемое в ХХ в. извержение зла есть выход на поверхность архаичных, доцивилизационных слоев нашей культуры – страстного этноцентризма, примитива силы, культа насилия. Пусть эта архаика и принимает форму современной идеологии (как национальный или общественный дарвинизм) или располагает новейшими технологиями (не исключая ядерной энергии) – по сути своей она остается

варварской. Архаические слагаемые современности обличала в “Корнях тоталитаризма,” Ханна Арендт. Наиболее четко сформулировал эту позицию Норберт Элиас в своих монументальных “Размышлениях о немцах”. В эволюции немецкой ментальности уже в XIX в. победила националистско-милитаристская модель, вытеснившая модель классицистически-гуманистическую. Поэтому легендарный “народ поэтов и философов” начал две мировые войны, создал гетто и Аушвиц. Вывод Элиаса, изложенный здесь упрощенно, тем более убедителен, что он анализирует конкретные способы воплощения в жизнь воспитательных моделей. Свой труд о Германии он издал лишь в конце жизни (1989), хотя работу над теорией цивилизации начал еще в 30-е годы – в преддверии начинающегося извержения варварства. Тадеуш Ружевич, один из величайших поэтов этого столетия, испытал на себе это извержение. В 1945 г. он написал: “Мне двадцать / я убийца / я орудие / слепое, словно меч / в руке палача”. В течение полувека Ружевич исследовал в своей поэзии это варварство, способное, подобно Протею, принимать самые разные облики.

Для высокого искусства типологические сближения поверхностны. И в самом деле, художественные диагнозы Боровского и Ружевича целостны и неоднозначны. Однако в данном случае для нас важно именно указанное ими направление. Если специфику XX в. определяет зло тоталитаризма, то наша литература и искусство дали уникальные художественные свидетельства этого феномена. Более того, это целое созвездие художников, создавших новую литературную парадигму, новую художественную идиому искусства. Созвездие это условно называли “военным поколением”, словно война оказалась приключением, а не навязанной свыше судьбой. Однако судьбу свою они встретили достойно, восприняв ее как вызов всей действительности, во всех ее антропологических измерениях. Это искусство создало новые формы пространства и времени, личности и сообщества, тела и души, разума и сердца. Его протагонистами были не только погибшие в варшавском восстании поэты, ровесники Боровского и Ружевича. Это также Мастер “бедного театра”, автор незабываемого “Мертвого класса” Тадеуш Кантор, а также поэт, драматург и философ Кароль Войтыла, более известный как Иоанн Павел II. Его культурное послание все еще не прочитано. Благодаря им всем мы стали другими.

Я отнюдь не утверждаю, что мы лучше – такой тезис сам был бы зародышем зла. Быть может, мы лучше знаем, что есть добро – а это много значит. Та пропасть, в которую повергло нас зло XX столетия, заставила переоценить систему ценностей. Они пали “на дно истории” и там открыли свою суть: любого рода идеологизация ценностей оказывается манипуляцией, а человечество, народ, класс – зловещим инструментом. Следует извлечь урок из вынесенного оттуда негативного знания. Важнее, однако, позитивный результат – несколько аксиом, подвергшихся жесткой проверке. Прежде всего – неизменный приоритет человеческой личности, достоинство которой стало мерилем прочих ценностей. Исторически оно восходит к христианству и без сомнения имеет универсальный характер – доказательство тому – современная католическая философская антропология. А ее безусловным свидетельством является, с моей точки зрения, дело жизни и смерти Януша Корчака, смысл которого внеконфессионален.

Вторая аксиома – неотделимое от человека взаимное сосуществование людей, обозначаемое некими базовыми отношениями: любовь, дружба, верность. Тоталитаризм, будучи направлен против них, помог осознать базовую ценность подобных связей. Лишенная их личность должна была стать жертвой тоталитарного режима – безвольной “единицей”. Примером “школы янычар” служит несчастный, превращенный в символ, Павлик Морозов. В этой перспективе Ян Стшелецкий рассматривает всю современную историю, раскрывая философские, моральные, общественные и экономические предпосылки идеологической деморализации. Ведь тоталитаризм – это не только “политическая система”. Это также философские понятия, нравственные догмы, общественные предрассудки и экономические классификации, которые санкционируют тоталитаризм, а иногда бывают его антиципацией. К таким

санкциям и антиципаниям был болезненно восприимчив Збигнев Херберт, и он знал, что следует им противопоставить: “Будь верен, иди!”

Взаимное сосуществование личностей, их базовые связи означают также и взаимопонимание. Оно должно быть достигнуто у основ культурной символики – там, где звуку отвечает смысл, вербальному смыслу – значимый жест, а энергия ритма вписывается в общий контекст. Как никто другой, тонко и пронизательно постиг самую суть взаимопонимания Мирон Бялошевский. Вероятно, поэтому его творчество, привитое к стволу достижений авангардистов (полузабытый сегодня Юлиан Пшибось), практически не поддается переводу. Я не хочу тем самым сказать, что наше современное искусство элитарно и эзотерично. Напротив, почти каждый из упомянутых мною художников имеет “аналог” в мировом искусстве. Элиот и Кафка, Булгаков и Камю, Борхес и Шаламов по праву открывают этот список. Но и польское искусство здесь исключительно важно и значимо, ибо без него нельзя понять XX в.

Перевод *И. Адельгейм*

© 2003 г. *Н. ПОНОМАРЕВА*

СТРЕМЛЕНИЕ К СИНТЕЗУ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БОЛГАРСКОЙ ПРОЗЕ И ДРАМАТУРГИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Каждому периоду в общественно-политической жизни народа присуща своя динамика и структура художественного творчества, в том числе и литературы, которая хотя и подчинена в своем развитии внутренним законам (конечно, если в этот естественный процесс не вторгаются активно некие внешние силы), но в то же время находится и в существенной зависимости от объективных реалий действительности, от предложенных данным историческим периодом в жизни страны обстоятельств.

Основным и качественно значимым признаком болгарской прозы и драматургии второй половины XX в., особенно 60–80-х годов, является их интенсивное движение к синтезу прошлого художественного опыта национальной литературы (главным образом, в рамках классического реализма) с новыми изобразительными принципами, во многом адекватными общим тенденциям развития мировой литературы этого этапа. Так, начиная с 1960-х годов, в произведениях болгарских писателей наблюдается видимое усиление авторского начала, личностной позиции повествователя. Обогащение и видоизменение жанровых и стиливых структур болгарской прозы и драматургии, унаследованных из прошлого, происходит зачастую в результате переосмысления фольклорных стереотипов (при этом более интенсивно используется богатство народной речи), освоения на новом уровне и активного включения в содержательные и изобразительные пласты произведений таких художественных приемов, как гротеск, пародия, абсурд, притчевость, мифологизм и др. Эти приемы значительно расширили диапазон художественного отображения жизненных явлений, возможности идентификации личности героев, а также проникновения в суть “вечных” философских проблем человеческого существования.

Вместе с тем, учитывая гражданскую и творческую несвободу в стране тех лет, следует сказать и о той немаловажной роли, которую сыграли эти и другие приемы, как, например, фантастика, историческая парабола, аллюзия, в защите и отстаивании писателями собственных позиций в обход негласных табу и прямой цензуры властей, обязательных в то время канонов метода социалистического реализма. Такого рода творческое противостояние писателей тяготевшему над ними государственно-партийному диктату, нередко вкупе и с прямым неподчинением его требованиям, приносили весомые результаты. Произведения таких авторов, как Э. Станев, П. Вежинов, Й. Радичков, И. Петров, Б. Димитрова, И. Радоев, С. Стратиев и других, вышли на уровень достижений европейской литературы этого периода, решительно

Пономарева Нина Николаевна – канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Работа выполнена при поддержке РФНФ. Проект № 02-04-00006а.

разрушив навязываемые им конъюнктурные шаблоны и не утратив национальной специфики, не растеряв накопленного художественного богатства прошлого.

Суть подлинно творческого наследования заключается не только в усвоении и развитии стиливого и жанрового достояния предшественников, но и в преемственности нравственных и духовных норм народа, формирующихся на протяжении всей его истории и запечатленных в литературе. Трагические страницы исторической летописи Болгарии предопределили особое внимание писателей к национальным корням, к сохранению духовных ценностей прошлого. Трудно назвать имя сколько-нибудь известного болгарского автора второй половины XX в., в произведениях которого в той или иной форме не прозвучала бы тревога об опасности утраты этих ценностей под воздействием нарастающего кризиса в обществе.

Для многих (Й. Радичков, И. Петров, В. Попов, Г. Мишев) эта проблема стала центральной. Причем каждый из писателей подходит к ней со своим арсеналом художественных средств, многие из которых занимают существенное место и в европейской литературе этих лет.

Й. Радичков, к примеру, в своих рассказах, новеллах и романах, вскрывая жизненно драматические и в то же время часто парадоксальные и даже абсурдные ситуации, сложившиеся в результате столкновения старых и еще не изжитых до конца патриархальных устоев жизни со стремительным наступлением новой цивилизации, с успехом использует формы болгарского фольклора, переосмысливая их в соответствии с проблемами современности. Писатель отдает предпочтение сказовой форме повествования, часто пародийно-сказовой, что также является следствием сильного воздействия на него народного творчества. Этическую, нравственную и социальную нестабильность человека нашего времени он передает средствами гротеска, пародии, иронии и сарказма. Одним из любимых приемов Й. Радичкова (как в прозе, так и в драматургии) является сочетание фольклорного и фантастического. Так, например, в одной из новелл он устраивает “встречу” пришельцев из космоса с народными поверьями, суевериями, которые оказываются отнюдь не чуждыми гостям из других миров. С фольклорной традицией в творчестве Й. Радичкова соприкасается и проблема роли и значения для него мифа, мифологии – одного из наиболее примечательных признаков современной мировой литературы. Однако в отличие от западных стереотипов, сохраняющих в основном конструкцию древних мифов (например, в произведениях Жироду, Ануэя, Сартра, Кокто), болгарский писатель создает свои мифы, собственную модель мира, соответствующую национальным инвариантам.

Художественная структура романов болгарского прозаика Г. Алексиева сочетает исторические события и бытовые эпизоды из жизни одного болгарского села с мифами, притчами, народными языческими поверьями. Реальные образы перерастают в образы-символы, в которых воссоздаются черты народной памяти и психологии. История села становится своеобразной моделью национального бытия.

Нравственный уровень общества – одна из кардинальных проблем болгарской литературы рассматриваемого периода и одна из наиболее болезненных. Она связана как с переосмыслением близкого прошлого, периода первых послевоенных лет до событий апреля 1956 г., так и с осознанием нравственного кризиса в стране в последующие годы, с попыткой анализа его истоков, поисками путей его преодоления. Тематика таких произведений весьма разнообразна, но чаще всего основной акцент в них делается на самоанализ героя, сопряженный со значительными или рядовыми общественными событиями, их ролью в судьбе и духовной эволюции самого героя. Это лирическое, субъективизированное осмысление общественных процессов, преломляющихся главным образом в области морали. Произведения этого плана объединяют исповедальность тона, а также искренность и бескомпромиссность суждений как по отношению к герою, так и по отношению к действительности. Исповедальное начало выступает жанрообразующим фактором или же проявляется как одна из главных стиливых черт произведения.

Реальная угроза духовного обеднения личности – в центре многих произведений известного болгарского прозаика П. Вежинова. Он вменяет в вину современному обществу потерю органических связей между поколениями, бюрократизм, эгоизм, равнодушие, приводящие к личным и общественным драматическим конфликтам, а также духовное обнищание человека, однобоко рациональное и прагматичное его отношение к жизни. “Исповедь” героя, поиски, по словам автора, “самого себя, своей сущности” [1. С. 104, 108] усиливают философскую линию в произведениях писателя. В перечень изобразительных средств П. Вежинова входят метафорические, условно-метафорические, фантастические, которые способствуют более многогранному отображению внутреннего и окружающего мира героев.

Художественное исследование нравственных аспектов современных жизненных явлений в драматургии наиболее успешно воплотилось в сатирических пьесах, авторы которых обогатили болгарскую комедиографию интересными и частично новыми для нее приемами и подняли ее на высокий художественный уровень, что позволило ей шагнуть на сцены театров многих стран. Блестящий болгарский комедиограф С. Стратиев выступает против многочисленных нравственных пороков в современном обществе с оружием иронии и сарказма, сатирического гротеска и гиперболической метафоры, соотносимых по форме с абсурдизмом в западной драматургии. И. Радоев обращается к жанру трагикомедии, своеобразно сочетая острую сатиру и непринужденный всепроникающий лиризм, свойственный также и его поэтическим произведениям.

Особое место в современной болгарской комедиографии и драматургии в целом занимает Й. Радичков. Его пьесы отмечены теми же признаками, что и проза писателя (конечно, с учетом специфики литературного рода). Как правило, они представляют собой своеобразную “систему рассказов, сказок, притчей и преданий” [2. С. 197], в которых уживаются жизненная конкретность и фольклорная условность, примитивный и интеллектуальный пласты сознания и поведения героев, их быт и бытие, философская притча и комические ситуации. В ткань пьес, жизненно конкретных по содержанию, легко вплетаются элементы фантастики. Аллегоричность и ассоциативность, к которым нередко прибегает Й. Радичков, способствуют не только обличению негативных сторон болгарской действительности, но и подводят к более общим выводам о процессах в современном обществе.

Большое распространение в болгарской драматургии 1970-х–1980-х годов получили камерные пьесы, в которых существенно сокращается дистанция между героем и зрителем, внимание в большей мере сосредоточивается на духовном мире персонажей, усиливается идейная концентрация. Особую группу в этом жанре составляют монодрамы. В развитие этой формы Й. Радичков внес свою весьма значительную лепту. Его монодрамы наполнены глубоким философско-этическим содержанием. В них – размышления о жизни, ее бесконечности и вечном обновлении, о человеке, его судьбе и одиночестве, о природе, о “вечных” вопросах, которые касаются каждого. Видный болгарский ученый акад. П. Динев так отзывался об одной из таких пьес Й. Радичкова: она “о человеческом бытии – каждодневном и вечном” [3].

С точки зрения наследования, обогащения и трансформации художественных форм литературы прошлого интересна история болгарского романа после 1945 г. Мощная романная эпическая волна начала 1950-х годов, отмеченная талантливыми произведениями Д. Димова (романы “Осужденные души”, “Табак”) и Д. Талева (тетралогия о судьбах Македонии) к концу десятилетия утратила силу. Это не значит, что в последующие годы крупные масштабные романы перестали появляться совсем. Напротив, можно назвать немало интересных произведений этого жанра, использующих опыт прошлого и предлагающих относительно новые и оригинальные художественные подходы к историческому и современному материалу. Историческая тематика в это время выходит на первый план. В средневековой истории Болгарии, в эпохе Возрождения, периода борьбы против иноземного гнета и освобожде-

ния от османского гнета писатели открывают истоки самосознания народа, национального духа и характера и находят пути сопоставления с современностью. Изживается иллюстративно-описательный подход к разработке темы, основной акцент перемещается с событий на человека и его роль в истории, усиливается философско-экзистенциальная насыщенность повествования.

Один из примеров – исторические романы В. Мутафчиевой. Разные по темам и проблематике, эти произведения объединяют скрупулезная верность фактам, философско-аналитический подход автора к их оценке в контексте описываемой эпохи и с позиций сегодняшнего дня. Нетрадиционность в подходе к исторической тематике характеризует и романы Э. Станева. Это философско-историческая проза. На материале переломных, кризисных лет средневековой Болгарии писатель рассматривает такие кардинальные вопросы любых эпох, как роль и место личности в истории народа, ее самоценность, поиски духовной гармонии в человеке, его истинного предназначения. Один из романов несет на себе отпечаток автобиографичности. Полные трагизма жизненные приключения героя, по определению болгарского литературоведа Б. Ничева, являются более всего “приключениями духа” [4] человека Средневековья и в то же время отражением духовных исканий самого автора. В одном из интервью Э. Станев говорит так: “Это мои душевные этапы, через которые я прошел, но спроецированные и перенесенные в другой мир” [5. С. 63].

Вместе с тем, в болгарской прозе 1960-х–1980-х годов явно обозначилась другая тенденция – к снижению эпизодичности и масштабности, устойчивая склонность к лиризации, к малым прозаическим формам (рассказу, новелле, повести, небольшому по объему неэпическому роману – так называемому микророману), что подпитывало мнения об очередной гибели романа вообще. Лиризация в эти годы действительно заняла значительное место в прозе, проникла и в крупные романы, существенно редуцируя эпичность, однако этот процесс никак не подточил основы этого жанра, а только внес разнообразие в его форму.

В то же время получил повсеместное распространение и другой процесс – так называемая циклизация, т.е. объединение в одной книге рассказов, повестей, новелл с помощью сквозной интриги, общих героев, рассказчика, единой идеи и пр. Известный исследователь болгарского романа Б. Ничев считает такие произведения “своеобразной и самобытной формой стилизованного современного короткого романа” [6]. По его мнению, циклизация – это один из путей к созданию нового романа, но только романа неэпического. К такого рода произведениям можно отнести многие книги, жанровую разновидность которых определить довольно трудно. Это роман в новеллах (новеллистический роман), повесть из рассказов, сложный прозаический цикл из двух повестей, каждая из которых состоит из рассказов и др. В них эпичность часто отсутствует совсем или она приглушена за счет превалирующей лирической тональности. В то же время сама форма циклизации свидетельствует о тяге к укрупнению содержательных и идейных пластов произведения.

Знаменательно, что циклизация малых прозаических форм во второй половине XX в. на новом уровне повторяет путь, пройденный болгарской литературой в прошлом. Сходные процессы четко прослеживаются в творчестве И. Вазова и А. Константинова (конец XIX в.), Й. Йовкова (20–30-е годы XX в.) и других, которые в результате стали стимулом эпической романной волны. Новая циклизация тоже делает повествование более масштабным и, вопреки утверждению Б. Ничева, в конечном счете способствует созданию эпического романа в самобытной форме.

Ярким примером этого художественного явления может служить роман И. Петрова “Облава на волков”, опубликованный в конце 1980-х годов (спустя десятилетие после выхода книги Б. Ничева). Каждая из пяти глав этого произведения, несмотря на сюжетное сцепление, переплетение судеб героев, единый идейный замысел, имеет известное право на самостоятельность, т.е. может восприниматься как отдельная новелла или повесть. В этом смысле роман можно назвать новеллистическим, что не мешает ему быть эпическим. Рассказывая об истории болгарского села в эпоху краха па-

триархальных устоев и торжества новых общественных порядков в 1950-е годы, И. Петров использует весь богатый арсенал художественных средств своего творчества в целом, включающий художественный опыт болгарской литературы прошлого и настоящего. Слом старых моральных и социальных устоев в селе и трудное рождение новых противоречивым образом, иногда причудливым, трагедийно-гротесковым, отражается в индивидуальных судьбах персонажей. Драматические, трагические эпизоды в романе соседствуют с комедийными, подчас даже фарсовыми, раскрывая перед читателями сложность и бесконечное многообразие жизненных ситуаций и характеров героев. Писатель включает в ткань повествования монологи-исповеди, дневниковые записи героев, использует приемы публицистики. С другой стороны, в живописных лирических, иногда с романтическим налетом, описаниях природы, крестьянского быта, труда И. Петров следует традициям болгарской реалистической прозы прошлых лет. При этом между двумя типами художественного отображения зазора не образуется, сочетание их органично.

В последнее десятилетие прошедшего века в болгарской прозе обращает на себя внимание еще одно интересное явление. Кардинальные социально-политические перемены в стране, произошедшие на рубеже 1990-х годов, дали мощный толчок росту документальной литературы. Обретенная свобода слова открыла перед ней широкие перспективы. Хлынула лавина публикаций самого разного рода: ранее недоступные документы, дневники, воспоминания, мемуары, художественная проза, основанная на подлинных фактах, и пр. Особый интерес (с учетом поставленной в данной статье задачи) вызывает та мемуарная проза, которая по своему глубокому содержанию, серьезным обобщениям и художественному уровню приближается к жанру романа, чаще всего – семейного. Разумеется, степень этого приближения у каждого автора своя. Общее между ними – стремление к расширению биографического материала за счет исследования национальных корней семьи, экскурсов в историю, попыток проникновения в суть общественно-политических процессов в стране и др. Как правило, в таких произведениях существенное место занимают всякого рода отступления от чисто биографических сведений и многочисленные эссе нравственно-этического, социологического, психологического, философского и других направлений. Что же касается художественных средств, авторы подобных произведений в своем большинстве охотно прибегают к юмору, иронии и особенно часто к самоиронии.

Конечно, даже самые интересные и богатые в художественном отношении болгарские мемуары последнего времени трудно категорически квалифицировать как романы, однако их видимое движение к синтезу с другими прозаическими жанрами симптоматично и кажется перспективным.

Болгарский литературовед С. Игов утверждает: “История романов – это постоянная битва друг против друга. Роман рождается в результате убийства других романов” [7. С. 136]. Сказано слишком сильно. Но очевидно, что каждое новое время рождает новые художественные формы, в основе которых – синтез литературного прошлого и современности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Биография на една книга. Разговор с Павел Вежинов // Пламък. 1983. Кн. 3.
2. Панова С. Смях и присъда. София, 1977.
3. Пред премиерата на “Кошници” // Народна култура. 26 VI 1982.
4. Ничев Б. Художникът и мислителят // Литературен фронт. 18 VII 1974.
5. Сарандев И. Емилиян Станев. Литературни анкети. София, 1977.
6. Ничев Б. Съвременният български роман. Към история и теория на епичното в съвременната българска художествено проза. София, 1978.
7. Игов С. Романът – Феникс и Протей // Език и литература. 1999. Кн. 2.



© 2003 г. А. ФЛАКЕР

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В ХОРВАТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА

Хорватская литература зарождалась в то время, когда о существовании глобуса еще не могло быть и речи, а земное пространство представлялось плоскостным, как на картах Птолемея, донные хранящихся в монастырях хорватского побережья. Первый текст, написанный на хорватском языке глаголицей, ставшей специфическим знаком хорватской культуры на границе римских и византийских макрокультурных просторов, обладал уже топонимами региона, входящего в состав хорватского королевства. Однако топографичность юридических памятников реже являлась существенной чертой художественной литературы, достигшей полной зрелости в XVI и XVII вв. Поэтика ренессанса подразумевала литературный универсализм и приятие моделей классических мифов или христианских легенд. Парадигматическое значение для хорватской литературы получила книга М. Марулича “Юдифь” (1501 г., печатное издание 1521 г.), охватывающая библейское пространство, но пластичностью описаний женского убора явно намекающая на территорию, находящуюся под угрозой нашествия иноверцев. Аллегорической является и “Дубравка” (1628), пастораль И. Гундулича, само имя которого является аллегорическим, прославляющая свободу города. Ренессансные пасторали создали пространственную модель хорватской Аркадии, возобновившуюся в сентиментально-романтической литературе XIX в.

Топографичность, однако, отчетливо проявляется в художественной публицистике барокко. В поэме Гундулича “Осман” (1620–1638 гг., опубликована в 1826 г.) выделяется не только место “Хотинского” сражения (1621), но и перечисляются изображенные в галерее варшавского замка полководцы и армии победителя, представляющие широкое пространство “Речи Посполитой”. Названия воеводств следуют географии: начиная с севера с Пруссией и Ливонией, через восток с Литвой, Полоцком и Смоленском и юго-восток с Замостьем, Волынью, Киевом и “Белорусами”, вплоть до шляхетской Польши (Гнезно, Мазовше, Краков), и, наконец, до “войска Казаков” Сагайдачного. Барочной каталогизацией в XX в. будет пользоваться М. Крлежа, причем в эссе “Европа сегодня” (1934) разноязычное перечисление именно воинских частей, выступающих в разноцветных мундирах “от альпийских глетчеров до бомбейского лунного сияния”, создает впечатление о европейском и колониальном пространстве, в котором “европейские граждане умирают, как невинные агнцы, уже тысячелетиями” [1. S. 21].

По сравнению с эпохой барокко, литература хорватского возрождения XIX в., несмотря на ссылки его деятелей на достижения Дубровника, отходит от универсализма и представляет более локальное пространство, как будто ограниченное стихами А. Михановича “Хорватская родина” (1835), ставшими впоследствии хорватским

гимном. Поэт создал пасторальное пространство между Савой и Дунаем, даже не упоминая моря, столь часто изображаемого раньше, притом с конкретным наименованием островов (ср. Гекторович – “Рыбная ловля и рыбацкие присказки”, 1555), так что современный вариант текста гимна дополнен вставкой о “синем море”. Этот вариант, однако, не упоминает третью границу – реку Уну. А именно Босния неизменно привлекала хорватских писателей. От романтических путевых заметок “Взгляд на Боснию” (1842) Матии Мажуранича, точно проводящих этническую границу между старожилами “босняками” (bošnjaci), “христианами” (krstjan) и пришельцами из “Османского царства” (osmanlije), через эпiku Л. Ботича и исторические романы Й.Э. Томича эта линия вела в XX в. к писателям из Боснии, боснякам и христианам – вплоть до И. Андрича. С этой направленностью на восток связана и поэма брата путешественника в Боснию – Ивана Мажуранича “Смерть Смаил-аги Ченгича” (1846), в которой прославление черногорских мстителей содержит барочную проповедь, славящую “каменное” (ориг. krševita) отечество, в сущности геоморфологически тождественное с гористой полосой Герцеговины и Далмации до родного Мажураничам Приморья. И. Мажуранич создал текст, который определил пространственную устремленность литературы к “каменной” Хорватии, сохранившей богатый фольклор, известный Европе с XVIII в., и язык, ставший во время иллиризма языковой нормой.

Хорватская литература следовала А. Михановичу и главенствующему идеалу иллиризма. Именно этот идеал отвергал в XX в. Крлежа, видя в нем “нашего человека”, смотрящего “на полную луну” и слушающего, “как молодое вино капает в бочку. Слышны свирели, море спокойно и тихо, идиллия полная и природы, и свободы” [2. С. 90]. Перед этим идеалом не устоял даже Шеноа, писатель, открывший для литературы историческое пространство города Загреба, но замыкающий роман о крестьянском бунте XVI в. идиллией деревенского сосуществования помещиков и крестьян.

Основной корпус литературы хорватского реализма был связан с деревней, тургеневской поэтизацией усадьбы (К.Ш. Джальский, Я. Лесковар), иногда с уходом в мещанскую среду, иногда с карикатурным изображением уродливого города и гротескным разорением деревенской пасторали (А. Ковачич). За пределы северной Хорватии литература едва ли выходила. Но, конечно, она не могла не затронуть центр империи: Вена появилась в ней как порочный город в натуралистических картинах Э. Кумичича, вскоре обратившегося к берегам Истрии в поисках мотивов нарушения приморской идиллии пришельцами из чужого пространства. Надо, однако, выделить непревзойденные венские импрессионистские зарисовки в прозе И. Войновича, автора, вернувшего хорватской литературе Дубровник и, отнюдь не спокойное, Адриатическое море.

Глобализация хорватской литературы совершалась в XX в. Можем ее даже датировать 1900 г., когда модернизирующий уже хорватский рассказ Антун Густав Матош, будучи в Париже, посылал с Всемирной выставки свои фельетоны в загребскую газету. Глядя с высоты Эйфелевой башни на пеструю толпу ярмарки национального тщеславия, он испытывает обиду за то, что Хорватия на ней не представлена самостоятельно. Но взор его проникал и в глубину открывшегося собирательного пространства. Его привлекала возможность обновления искусства в эпоху нарастающей технической цивилизации, создающей новое понятие красоты, ее глобальный характер и охватывающей новые формы американского танцевального театра, отличного от традиционного балета, музыку африканских негров, вплоть до появления на сцене Японии. Матош созерцал новую эстетику тривиального искусства на плакатах Мухи или Тулуз-Лотрека, выступал за включение газетного дела в орбиту литературы, особое значение придавая карикатуре, о которой не раз еще писал, как о жанре современного искусства. Короче говоря, Матош будто предсказывал некоторые существенные черты искусства наступающего века [3. С. 8–16]. Наряду с фельетонами и эссе глобальный кругозор отличает и путевые за-

метки Матоша, часто каталогизирующие явления европейских литератур и искусств. Причем, надо заметить, что пишет о них знаток европейской современности.

В своем творчестве Матош несомненно кроатоцентричен. Особенно это проявляется в его стихотворениях, преимущественно посвященных Загребу, и в этом смысле удачна находка скульптора Кожарича, поместившего поэта на скамейке старого города, на которой автор “Ноктюрна” действительно мог слушать как “даль глотает поезда”. Глобальный кругозор проявился, однако, в его стихотворении “Кошмар” (1907), построенном на гипнотической мотивировке симультанизма в (глобальном) пространстве и (хорватском) времени. На этот раз глобальная цивилизация – не ярмарка: она предстает в накоплении современного оружия, лживости печати, торговле моральными устоями в мире, которым одновременно правят Торквемада, де Сад, Тамерлан, Бисмарк и Чингисхан, так что лирический субъект, следуя кошмарной каталогизации, как богоборец обращается к “Тирану Богу, старому палачу”: “Я – пасынок борьбы всех гигантов, / Меня давит подлость лживой Византии, / Софизм Вены, похоть Будды, / Мрачный лабиринт катакомб Рима” [4. S. 52]. Существенным является и признание поэта, что для выражения “этой муки – нет ямбов, / Эту трагедию не выразят дифирамбы!”, нужна новая поэтика. Не случайно в этом же году появился первый хорватский авангардист – Я. Полич-Камов, а сам Матош вступил в контакт с Маринетти.

Правы были режиссер Б. Брезовец и сценарист Г. Стефановски, поставившие в 1989 г. на загребской сцене “Травиату”, в которой мотивы и персонажи оперы Верди включались в контекст мировой выставки в Париже 1900 г.: Роза Люксембург плывет на броненосце вокруг Эйфелевой башни, мальчика Мейерхольда приводят на выставку его родители, а в центре этого пространства находится изображение боснийского павильона и Матоша (Матош ценил этот павильон и потому, что в нем была представлена также хорватская культура). Тем самым режиссура молодого театра указала на Матоша как на своего предшественника.

Цикл “Баллады Петрицы Керемпуха” (1936) М. Крлежа заключил текстом “Планетариум”, ссылаясь на барочный универсализм, проявившийся в том числе и в “дьявольской и колдовской ворожбе” хорватской площадной культуры. Весь цикл представляет своеобразный *theatrum mundi* и охватывает преимущественно историческое пространство Хорватии и Средней Европы. Глобализация у Крлежи началась раньше: уже в “Симфониях” “*madžarski honvéd*”, т.е. хорватский солдат в венгерском мундире, обращается к “шелконосному Китаю” как пространству неосуществимой мечты [5. S. 172]. Два года спустя характер глобального видения меняется под впечатлением совершившейся в России революции: надеждой становится Кремль. Крлежа и Цесарец надеются, что революция снимет оппозицию “Россия или Европа?” (заглавие статьи Цесарца) и обесценит “всеславянские” чаяния, препятствовавшие движению хорватской культуры в XIX в. Кругозор становится воистину глобальным. В стихотворении “Великая пятница тысяча девятьсот девятнадцатого года”, посвященном памяти К. Либкнехта, смерть немецкого революционера сопоставляется с голгофским мифом, смещая события из “прокаженной Иудеи в царский Берлин”. Вследствие мифического характера события “содрогается кровавый шар земной, / от Пекина до Рима, от Трансвааля до Кремля”, причем выделяются болевые точки змеего шара: англо-бурская война, боксерское восстание. В центре стихотворения – бессилие “хорватского человека”, которому писатель посвятил цикл рассказов “Хорватский бог Марс” (1922). В нем хорватские солдаты от загребских казарм до галицийского фронта соприкасаются с полиморфной массой армии Габсбургской империи и сталкиваются с неумолимым механизмом мировой войны, продиктованным внешними стихийными силами. Глобальный характер присущ и книге путевых очерков “Экскурсия в Россию” (1926), несмотря на то, что она сосредоточена на описании Москвы как центра и “попутных” городов – Вене и Берлине, а также оценках процессов в тогдашнем европейском искусстве. Эссе Крлежи, особенно в книге “Европа сегодня” (1934), всецело обращены к общеевропейской проблеме бессмертия

военщины, которой противостоят мыслители, поэты и художники, об их судьбе в будущем скорбит Крлежа перед “Химическим институтом” в Москве [6. S. 190]. Список включает Джордано Бруно, Вольтера, Бакунина, Герцена, Мицкевича, Гейне, Ландауэра, Байрона, вплоть до “модерна” – Бодлера, Верлена, Гогена и Ван Гога. А концовку романа “На грани рассудка”, (1938) представляют голоса радиостанций, раздающиеся со всех концов Земли: шум войны, доносящийся из Мадрида и Шанхая, резко перебивают мелодии классической музыки или напевы эстрады и кафешантана. Однако в центр собственного литературного “Планетария” Крлежа ставит пространство “на восток от линии Данциг – Триест” и пишет роман, клеймящий общую модель диктатуры в странах Прибалтики и Балкан, которая подчиняет себе художников, обслуживающих диктаторов, но и побуждает к сопротивлению критически мыслящих одиночек. Созданное Крлежей пространство сохранило злободневность до наших дней, и его “Блитва” стала нарицательным понятием (см. книгу журналиста Худелиста “Банкет в Хорватии”, повествующую о становлении независимого хорватского государства в 1989–1990 гг.). Крлеже принадлежат и такие нарицательные обозначения хорватского пространства, как (исторический) Kroatenlager (“хорватский лагерь”) или (вневременное) “Паннонское болото” (Паннония – римская провинция, охватывающая низменность на севере от Савы и на западе от Дуная).

Если Крлежа в “Балладах Петрицы Керемпуха” вернул достоинство литературному языку хорватского севера, то Тин Уевич в 1914 г. оживил традицию языка хорватского юга, следуя основоположнику хорватской поэзии – М. Маруличу. Но одновременно Уевич намечал плавание “еретическим курсом”, продолжал действовать, не признавая “ни какого вождя и законодателя” (“Прощание”), но с оглядкой на поэтику европейского авангарда [7. S. 93–107]. Понятие “зоны”, которое мы заимствуем у Аполлинера (поэма “Зона”), подхваченное в 20-х годах чешским “поэтизмом” (журнал “Пасмо”, 1924–1926), вполне применимо при анализе целого ряда стихотворений, в соприкосновении с которыми привычное и применяемое Крлежей понятие “симультанизма” теряет цельность. В текстах 1920-х – начала 1930-х годов “зона”, создаваемая поэтом, охватывает воистину планетарное пространство. Поэт в один и тот же ряд вводит мотивы Парижа, его “синие куртки” и “метрополитен”, американские Magic City, объявляет себя властителем “дворца в Испании и Ялты Потемкина”, принимает телеграммы “с Марса и самых далеких созвездий”. Повторяются и мотивы (духовной) Индии, роднящие его с “Заблудившимся трамваем” Н.Гумилева [8. S. 253–262]. Если у Матоша и Крлежи движение в пространстве представлено прежде всего, как и у Пастернака, поездом, то трамвай, как средство передвижения по циркулярной траектории, несомненно характеризует Уевича, намечающего выход из городского *circulus vitiosus* в пространство космического, божественное, вечное (“Потрясенные трамваи”, 1921; “Действие спутанных рук”, 1925 и др.). Точку зрения лирического вездесущего субъекта определить трудно: однако есть намеки на то, что “зоны” видит поэт городской богемы из белградского, загребского или сараевского кафе, неоднократно при этом вспоминая пространство детства в горах Далмации или на острове Брач. С этим пространством связан постоянный у Уевича культ Мадонны, мотивы католической церковности, а отсюда недалеко до пространства мистического, возвышающегося над землей, вплоть до очевидно противопоставленного призыву земного “братства”, чаяния “Побратимства людей во вселенной” (1932). В более поздних текстах Уевич будто бы даже возвращается к парадигматической иконичности средиземноморского побережья. Он рисует именно такую “Городскую панораму”: “Родные места – четкие открытки, / с кладбищем, косяком, колодцем, городским фонтаном, / с какой-то старинной дверью, двумя-тремя стройными башнями, / под колокольней и с колокольной песней”. Однако окончание стихотворения содержит намек на дальнейшее движение: “Хорошо посмотреть на них только на мгновение: / сейчас они малы, некогда были длинными / для детского шага; но наша жизнь – это взрыв, / и увидев их, знаем: мы другие. Мы из тех, что в мир уходят” [9. S. 166–167].

Надо заметить, что хорватские поэты, выступившие в 1950-х годах (В. Павлетич, И. Сламниг, А. Шолян и др.), больше всего ценили Матоша и Уевича, из европейских же поэтов прежде всего перешагнувших национальные границы – Т.С. Элиота и Э. Паунда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Krleža M.* Evropa danas. Zagreb, 1956.
2. *Krleža M. Eseji.* Zagreb, 1932, s. 90.
3. *Флакер А.* Начало века: проекты и осуществления // Искусство XX века: уходящая эпоха? Нижний Новгород, 1997. № 1.
4. *Matoš A. G. Sabrana djela.* Zagreb, 1973. Т. 5.
5. *Krleža M. Simfonije.* Zagreb, 1933.
6. *Флакер А.* Московские запахи и мусор 1925 года // *Studia literaria Polono-Slavica.* Warszawa, 1999. № 4.
7. *Oraić Tolić D.* Teorija citatnosti. Zagreb, 1990.
8. *Flaker A.* Književne vedute. Zagreb, 1999.
9. *Ujević T.* Nostalgija svjetlosti. Zagreb, 1975.



© 2003 г. Н. ШВЕДОВА

ЭХО СИМВОЛИЗМА: ЛИРИКА ИВАНА КРАСКО И СЛОВАЦКАЯ ПОЭЗИЯ XX ВЕКА

В словацкой литературе XX в. не так трудно назвать имя писателя, который оказал неповторимое воздействие на творчество последующих поколений. Это – поэт Иван Краско (1876–1958), наиболее яркая фигура словацкого символизма. Два небольших сборника – “Nox et solitudo” (1909) и “Стихи” (1912) – стали подлинными событиями в национальной литературе, выводя ее на европейский уровень.

В XIX в. словацкий народ с колоссальными трудностями отстаивал право на культурную самобытность, на собственный язык. Разумеется, это не могло не сказаться на развитии литературы. С одной стороны, национальная словацкая литература окончательно формируется к середине XIX в. С другой стороны, она заметно запаздывает в развитии художественных течений и направлений относительно даже славянских соседей – литератур польской и русской. Считается, что полностью она выровнялась по стадиям развития в 20–30-е годы XX в. (Такая концепция, в частности, положена в основу глав Ю.В. Богданова в новом академическом труде российских ученых [1].) Однако на рубеже веков именно в творчестве поэтов Словацкой Модерны, крупнейшим из которых был И. Краско, появились тенденции, характерные для европейских литератур периода символизма. Хронологически словацкий символизм ненамного отставал от русского – по мнению французских ученых, “самого значительного после французского” [2. S. 198]. В русском символизме были не только такие выдающиеся поэты, как В. Брюсов, К. Бальмонт и А. Блок, но и такие уникальные по широте и глубине эстетического анализа теоретики, как Вячеслав Иванов и Андрей Белый, претендовавшие на создание теории искусства вообще и литературного творчества в частности. Вряд ли случаен тот факт, что кризисный год русского символизма – 1910 – совпадает с кризисным годом в творчестве Краско. Многие черты, в том числе ожидание положительных перемен, стремление к светлым жизненным началам, опора на национальные традиции, роднят словацкий символизм с младшим поколением русского символизма (Блок, Белый, Иванов и др.).

Писателям XIX в., от классицистов и романтиков до “патриарха” словацкой поэзии реалиста П.О. Гвездослава, был свойственен звучный голос поэта-пророка, глашатая нации. На рубеже веков он сменился субъективно окрашенной, камерной лирической мелодией, исполненной скорее нерешительности и неуверенности в себе, чем жизнеутверждающего пафоса. Впервые это обнаружилось в поэзии Янко Есенского (1874–1945). Он открывал дорогу Словацкой Модерне и, в частности, Краско, но сам шел иным путем, более традиционным на фоне европейского лите-

Шведова Наталия Васильевна – канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

ратурного развития. По этой причине и в силу других различий в мировоззрении и поэтике мы не относим Есенского непосредственно к поэтам Словацкой Модерны.

Лирика И. Краско – это портрет души обычного, негероического человека, наделенного лишь более острым ощущением сути вещей, прозреваемой в символах. Его поэзия по большей части пронизана печалью, томлением, душевными терзаниями. Его миру мучительно недостает ярких красок, солнца, хотя порой они и появляются – чаще по контрасту с психическим состоянием лирического героя. В то же время это поэзия мысли, философских раздумий, прежде всего о смысле жизни, о предназначении человека. Это поэзия противоречий между светом и тьмой, добром и злом, жизнью и смертью – в мире и в отдельной человеческой душе. Познав тупики отчаяния, Краско обращается к свету, красоте, любви. Символом избавления от темных наваждений становится прекрасная женщина, прототипом которой была невеста поэта Илона Князовичова. Импульс романтической традиции дает Краско еще одну опору – ощущение себя частицей страдающего несвободного народа и мятежное предвещание радикальных общественных перемен.

Творчество Краско как бы оборвалось на взлете, в начале второго десятилетия XX в., когда от поэта ждали новых достижений, видя в нем многообещающий талант. Краско прожил долгую жизнь, пережив своих собратьев по литературному модерну – В. Роя, Ф. Вотрубю, И. Галла. Писать он, впрочем, не перестал, искал новые темы и формы – например, обращался к теме национальной истории, форме повествовательной поэмы историко-философского звучания. Однако в 30-е годы он ощутил, что главное было сказано в пору создания двух его книг. “Благословенны те, кто говорил и больше не сказал, чем мог сказать во дни торжеств”, – писал Краско в стихотворении “Критика” (1936) [3. С. 114] (Перевод мой. – *Н.Ш.*).

Богатство содержания, его глубинная насыщенность при необходимом минимуме художественных средств, предельная лирическая откровенность “человека в XX столетии”, многомерность символических образов, отточенная инструментовка стиха сделали поэзию Краско чрезвычайно значимой для его сверстников и молодых поэтов. Словацкий литературовед Милош Томчик справедливо назвал Краско “основополагающей личностью в словацкой современной поэзии” [4. С. 150]. По мнению ученого, “две его тонкие книги... заменяют нам творчество целой плеяды писателей и одновременно во многих отношениях довершают художественные устремления П.О. Гвездослава и С.Г. Ваянского. ... Это поэт национальный и наднациональный” [4. С. 133]. Одаренный поэт Модерны В. Рой, например, открыто подражал Краско и как бы пронес эстафету его символизма в 20–30-е годы, продолжая активно творить.

Межвоенное двадцатилетие принесло в словацкую литературу долгожданное освобождение от необходимости бороться за выживание нации и самого словесного творчества на ее языке. Литература, насколько это вообще возможно, могла стать просто литературой, а не национальной трибуной, хранительницей языка, средством воспитания патриотических чувств. Молодая словацкая литература впитывала в себя импульсы и из соседней чешской литературы, и из традиционно близкой русской (советской), и из венгерской, и из западноевропейских (французской, немецкой, австрийской) литератур. Однако она была не столь радикальной по отношению к национальным традициям и устоявшейся поэтике. Символизм в словацкой литературе “задержался” весьма долго даже в сравнении с другими славянскими литературами (сходная ситуация была в литературе болгарской). В 20-е годы он сильно влиял на начинающих поэтов. М. Томчик писал: “С оживлением рефлексивного типа поэтического творчества у нас снова выдвинулся на первый план символизм”; программа Словацкой Модерны (условно определяемая, ибо программа в этом течении не формулировалась) “могла бы и в дальнейшем быть средством определенной инновации словацкой поэзии” [5. С. 101]. Конечно, играли свою роль и достижения символизма в других литературах (О. Бржежина, Э. Ади и др.), но и они были по-своему опосредованы Словацкой Модерной. Русских символистов в Словакии начали переводить в

30-е годы, и здесь велика заслуга знатока русской литературы Я. Есенского, близкого Модерне в пору ее становления (например, перевод “Двенадцати” Блока с предисловием Л. Новомеского, 1934 г.).

Сквозь начальный этап символизма прошли такие несхожие, разошедшиеся по разным течениям поэты, как Э.Б. Лукач, Я. Смрек, В. Бениак, Л. Новомеский – ведущие литераторы межвоенного двадцатилетия. Авангард в его двух основных вариантах – поэтизм и затем сюрреализм – начал проникать в словацкую поэзию лишь с конца 20-х годов, утвердившись в 30-е, но окончательно не вытеснив неосимволистских тенденций, заметных, например, у П. Горова. По словам М. Томчика, “символистскую поэтику освоили все поколения словацких поэтов в XX в.” [5. С. 102]. Сильные позиции символизма даже позволили в V томе академической “Истории словацкой литературы” (Братислава, 1984) рассматривать большинство поэтов 30-х годов, за явным исключением сюрреалистов и обособленной Католической Модерны, в рамках неосимволистской поэтики. Автор раздела З. Касач писал о красковском символизме: “Его присутствие в развитии словацкой поэзии до переломного 1945 г. было настолько выраженным, что в литературном сознании того времени даже набирающие силу тенденции дифференциации и разные поэтические эксперименты воспринимались на фоне неосимволистского канона и оценивались по отношению к нему то как его развитие, то как отказ от него” [6. С. 491].

Однако влияние Краско (в том числе опосредованно, через Роя) не ограничивалось пределами символистской поэтики или расплывчатыми границами неосимволизма. Оно продолжало сказываться и в годы после Второй мировой войны – в творчестве крупнейших поэтов того времени, Милана Руфуса и Мирослава Валека. У Руфуса эта связь ярче проявилась в 50-е – начале 60-х годов, у Валека – в 50-е и 70-е годы, на разных этапах зрелости.

Воздействие Краско на межвоенную литературу мы решили показать на примере поэмы Л. Новомеского “Встречи”. Л. Новомеский – выдающийся словацкий поэт XX столетия, человек драматичной судьбы (в 50-е годы он был репрессирован) и уникального поэтического дарования, которое однозначно не вписывается в рамки каких-либо “-измов”. От символистских первых опытов в самом начале 20-х годов поэт пришел к своеобразному взаимопроникновению пролетарской поэзии и поэтизма (сб. “Воскресенье”, 1927, и “Ромбoid”, 1932). В 30-е годы, в пору творческой зрелости (сб. “Открытые окна”, 1935, и “Святой за околицей”, 1939) поэзия Новомеского обнаруживает в себе черты неосимволизма. Биограф Новомеского С. Шматлак предостерегал, впрочем, от чрезмерного соотнесения его творчества с символизмом. «Правда, если понятие “символизм” мы употребляем как некий эстетический иероглиф, вырванный из конкретных историко-литературных связей и отвлеченный от определенного (либо общего для эпохи, либо в рамках этой эпохальной модели лично единственного) способа художественной реализации, то “символистской” мы можем назвать любую поэзию, которая пользуется символом как основным средством образности и подчеркнутой этим поэтической интерпретации действительности. Так обстоит дело и с поэзией Лацо Новомеского» [7. С. 235–236]. На наш взгляд, поэзия Новомеского не просто оперирует символами, но и основывает целое произведение на символистской протяженности содержания, на поисках сути за внешней видимостью. Новомеский писал в статье “Об этом молчании” (1943): “Искусство является или хотя бы должно быть не чистым изображением действительности, но ее преобразованием. Искусство не репродуцирует или хотя бы не должно репродуцировать явления и сцены, оно должно переплавлять их в раскаленном горниле творения и возвращать их очищенными для радости и перерождения человека. ... Стихи – это обряд ...” [8. С. 233].

Впрочем, поэзию как священнодействие “выдумали” не символисты. Еще в античности один из главных в пантеоне, бог света Аполлон (Феб) был предводителем муз (Мусагет), и Пушкин в связи с этим писал о “священной жертве” поэта.

По мнению С. Шматлака, “то, что для Краско означало глубинную причину его поэтической резиньяции – познание противоречивости мира (и человека в нем) как неизменной объективной данности, – дает Новомескому не только причину, но и самый смысл его будущей поэзии: преодолеть это познание в творчестве и превращать его в “новую красоту поэзии” (из автозписграфа к “Воскресенью”. – *Н.Ш.*). Можно сказать, что Новомеский интегрировал завет Краско в свое творчество путем его диалектического отрицания” [7. С. 57].

“Встречи”, называемые поэмой или циклом стихов, выстроены в свободной “аполлинеровской” манере, как цепь воспоминаний и рефлексий (Г. Аполлинер был одним из любимых поэтов Новомеского). Поэма выросла из нескольких стихотворений, навеянных посещением конкретной словацкой деревни Завадка и опубликованных в 1931 г. Образный импульс, позволивший увидеть впечатления в ином измерении, – портрет из картинной галереи, в котором поэт усмотрел загадки самой жизни, “заколдованную красоту” и боль мира в их нерасторжимом единстве. Это портрет прекрасной белокурой женщины с голубыми “влюбленно-строгими” глазами. “И в этой живой красоте на стене – / вещи, во всем мире потерянные, / их цвет, звук и запах богатый / неизвестным волшебством здесь заколдованы, / В виде ослепительной прелести – / тысяча великих болей, / и прежде чем явиться нам как во снах, / она сотни различных прошла перемен” [8. S. 145].

Женский образ ассоциируется с потонувшей в синей дымке деревушкой, окруженной золотистыми полями, словно волнами волос. “Опять она, но образ изменила: / сто тысяч ран и слезы над могилой. / А там был чудом создан идеал, / что в красоте искусства засиял” [8. S. 146] (Перевод мой. – *Н.Ш.*).

“Волшебство” искусства – это именно способность создавать из противоречий и страданий “новую красоту поэзии”. Но это не просто образ, дарящий эстетическое наслаждение, образ-фантазия, образ-игра: это глубокий символ, в котором соединяются противоречивые начала во всем их исходном драматизме, в котором заключены и первичная реальность (картинная галерея, деревня), и вторичная (портрет женщины, антропоморфный “портрет” деревни, созданный поэтом). В деревне живут простые труженики, готовые поделиться с гостем своей нехитрой вышивкой и закуской, рассказать ему о своей жизни. Многие люди, подобные им, погибли на полях сражений Первой мировой войны или уехали на заработки в эмиграцию; так “кровь лачуг растекается / в стороны компаса” [8. S. 150]. Деревушка в словацкой глубинке приобретает символическую протяженность во времени и пространстве. Но это и протяженность в философском смысле жизни и смерти, которую скрывает в себе “лист заржавевший осенний”. Здесь и “смерть, ожидающая в прихожей”, и “из всех настроений лишь меланхолия”, и “из судеб людских горькие трагедии. / Мой отец святым одеждоу шьет” (отец Новомеского был портным). И здесь появляется вполне символистская констатация: “Когда читаешь книги поэта, / о стяжении думай во многих словах / ради всех болей на Земле” [8. S. 149]. (Слово “skratka”, буквально “сокращение”, однозначно не переводится на русский в этом значении.)

Образ прекрасной и загадочной женщины с портрета в картинной галерее трансформируется в образ родины, такой же прекрасной и загадочной, но и страдающей, полной изнурительного труда и простых радостей работающего человека. Соединение образов прекрасной женщины и родины отсылает нас к поэме словацкого романтика Андрея Сладковича “Марина” (1846): “Ах, родину любить в прекрасной деве, / Марину – в дорогом родном напеве: / я их одним движеньем обниму!” [9. S. 91] (Перевод мой. – *Н.Ш.*).

У Краско связь любимой женщины с родиной опосредована через пейзаж (“Сегодня”), цветы (“Горные цветы вянут”). Природная символика очень характерна для Краско. Для него родина, как и невеста, была неким удаленным объектом: он работал в Чехии, будучи по специальности инженером-химиком, с Илоной переписывался (есть даже стихотворение “Письмо моей Илке”), она прислала ему цветы с родных гор, которые вдохновили его на упомянутое стихотворение. В русской поэзии

слияние родины с женским образом ярко выражено у “младших” символистов. У “старших” встречалось противоположное. Брюсов выделял общечеловеческое вместо национального, абстрактное вместо конкретного: “Я действительности нашей не вижу, / Я не знаю нашего века, / Родину я ненавижу, – / Я люблю идеал человека” [10. С. 27].

А. Блок же писал: “О, Русь моя! Жена моя!” (“На поле Куликовом”, 1908); в стихотворении “Россия” (1908) – опять родина-женщина, любимая и прежняя в “измене” поэту: “А ты все та же; лес, да поле, / Да плат узорный до бровей...” [11. С. 158, 162]. Родину символизирует и певица Фаина в пьесе “Песня Судьбы” (тоже 1908 год!) – загадочная, доступная и гордая, любящая и ускользающая.

У Новомеского в итоговой части “Встреч” – “родина наша маленькая не имеет границ, / как наши мечты далекие”; “мы блуждаем дальше лабиринтом болей / ради всех красот мира заколдованных” [8. S. 151]. Так частное – портрет, деревушка – посредством символизации разрастается до всемирного, до всеохватности мечты и сопряженности поэта со “всеми красотоми мира” через обобщающую оптику искусства.

“Встречи” связаны с символизмом в поисках ускользающего смысла красоты и правды, таинственностью путей к ним – “лабиринта болей”. Именно здесь появился у Новомеского символический образ “святого за околицей” (буквально “за деревней”), ставший названием его следующего сборника и обозначением места поэта в мире надвигающейся военной катастрофы: “Когда пришел сюда тот добрый святой-простак / и этому краю дивом помочь хотел, / он увидел напрасность своих чудес / и за деревней от горя окаменел” [8. S. 147].

С. Шматлак назвал “Встречи” “некоей современной – что означает очень сконденсированной, полной намеков и внутренне многомерной – эпопеей словацкой судьбы” [7. S. 206]. Унаследованное от символизма умение разворачивать исходный образ в бесконечность позволило Новомескому увидеть связь женского портрета с судьбой конкретной словацкой деревни и судьбами своего народа в XX в.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. История литератур западных и южных славян. М., 2001. Т. III.
2. Брюнель П. Литература // Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка. М., 1998.
3. Krasko I. Súborné dielo. Bratislava, 1966.
4. Tomčík M. Slovenská lyrika po Ivanovi Kraskovi // Tomčík M. Básnické retrospektívy. Bratislava, 1974.
5. Tomčík M. Symbolizmus v poprevratovej poézii // Dejiny slovenskej literatúry. T. V. Literatúra v rokoch 1918–1945. Bratislava, 1984.
6. Kasáč Z. Premeny novosymbolistickej lyriky // Dejiny slovenskej literatúry. T. V.
7. Šmatlák S. Básnik Laco Novomeský. Bratislava, 1967.
8. Novomeský L. Z úrodných podstát človečích. Bratislava, 1975.
9. Sládkovič A. Poézia. Bratislava, 1976.
10. Брюсов В.Я. Избранное. М., 1983.
11. Блок А.А. Собрание сочинений в 6-ти т. М., 1971. Т. III.



© 2003 г. Г. ИЛЬИНА

ЛИКИ МИРОСЛАВА КРЛЕЖИ (ТРАГЕДИЯ ЛЕВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ XX ВЕКА)

Обращаясь к итогам XX в., невозможно обойти одну из трагических страниц его истории, связанную с судьбами левой художественной интеллигенции. В эпоху “войн и революций”, как называют это столетие, под влияние социалистической идеологии попали массы людей. Среди них были и блестящие умы, в том числе великие писатели, ставшие в своих странах, а часто и за их пределами, “властителями дум” нескольких поколений. Их биографии и творчество, взгляды и пристрастия всегда были в центре внимания, вызывая бурный интерес при их жизни и долгие годы после смерти.

Таким был и выдающийся хорватский писатель XX в. Мирослав Крлежа, чья жизнь и творчество охватывают почти все это столетие: родился он в 1893 г., начал свою литературную деятельность в 1914, умер в 1981 г. Прозаик, поэт, драматург, публицист, эссеист, общественный деятель, он был фигурой европейского масштаба, привлекал к себе интерес не только феноменальной разносторонностью творчества, но и неиссякаемой жаждой художественного обновления. Балканские и Первая мировая войны разрушили его юношескую веру в Исторический прогресс, Истину и Красоту и способствовали формированию тотального отрицания буржуазного общества и саркастического отношения к литературе предшествующих эпох. В эти годы единственно возможный выход он увидит в социалистических идеях, а потому горячо приветствует Октябрьскую революцию и ленинизм. Его, как, впрочем, и многих интеллигентов в других странах, привело к социализму не классовое происхождение или знакомство с практикой классовой борьбы. Его путь – это путь интеллектуального познания мира во всей его противоречивости, поиск ответов на мучительные вопросы общественной и политической жизни страны – национально зависимой, веками угнетаемой Хорватии. Так, во многом умозрительно, складывалось его убеждение, что коренные проблемы его родины, и не только ее, могут быть решены лишь в результате социального переустройства общества на социалистических началах. Верность этим взглядам, несмотря на противоречия, сомнения и драматические повороты судьбы, он сохранил до конца дней. Даже когда социалистическая идеология на практике все больше приобретала черты тоталитарности, даже когда он вступал в конфликт с культурной политикой своей партии и его объявляли еретиком и исключали из ее рядов.

Первые же литературные выступления Крлежи вызвали ожесточенные споры, хула и восторженное одобрение сопровождали и все его творчество в межвоенные

Ильина Галина Яковлевна – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН. Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект № 02-04-00006а.

годы. Он также не оставался в долгу, войдя в историю литературной публицистики Хорватии как ярчайший полемист. Естественно, что восприятие такого писателя зависело – да и сейчас зависит – не только от эстетических пристрастий, но и от идеологических позиций критиков, от политической конъюнктуры, от поколенческих вкусов, а то и просто симпатий и антипатий читателей.

Оценивая подобные личности и их творчество, можно выбрать разные ракурсы. Остановлюсь на одном из них, на мой взгляд, чрезвычайно важном для писателей, придерживавшихся социалистических взглядов: М. Горького, В. Маяковского, в определенные годы Ж. П. Сартра, М. Крлежи (перечень можно продолжить). Он тесно связан с вопросом о положении искусства в революции, о степени их взаимосвязанности. Крлежа считал реальным синтез искусства и революции, подразумевая под ним возможность сохранения автономности искусства внутри данной идеологии как в годы борьбы за власть, так и на этапе господства в Югославии коммунистической партии. Он не просто жил и работал в оба эти периода, но и был центральной фигурой литературного процесса в них обоих – правда, на разных ролях. Поэтому так поучительна его судьба, в которой просматриваются многие черты, характерные для судеб левой художественной интеллигенции XX в.

Впервые противоречие между стремлением одних людей “все устроить, распланировать на всем земном шаре” и других, “неврастеничных, взбалмошных и неустроенных”, которые “несмотря ни на что будут прислушиваться, как с приходом весны шумит ветер в ветвях”, Крлежа с особой остротой ощутил, приехав в 1925 г. в страну Советов. Познакомившись с искусством революционной России и ни в коей мере не отрицая важности агитационно-монументального направления в нем, он пишет и о вечном существовании чудаков, для которых “чирикание воробьев и обычный полет облаков будут всегда достойны уважительного внимания. Они чувствуют грусть весны, сознают, что полдень рождает ощущение чудесных, жизне-радостных перспектив и вызывает каскад волшебных образов и фантазий, водопад красок, запахов и звуков, которые с шумом скатываются в никуда... Человек, – заключает писатель этот пассаж, – и есть лавина красок, запахов и звуков, и его стремление – всего лишь одна из иллюзий, что происходящее обладает каким-то смыслом.” [1. S. 253].

Это было начало борьбы за художественное качество революционного искусства, продлившейся целое десятилетие. В понимании Крлежи пролетарское искусство должно быть столь же разносторонним и столь же глубоким, как и любое другое. И он вступает в яростную полемику с появившимися в конце 1920-х годов югославскими “неистовыми ревнителями”, которые, вслед за советскими рапповцами, объявили “лунный свет литературно беспредметным” [2. S. 255]. Опираясь на энциклопедические знания мировой классики (Крлежа владел несколькими европейскими языками и многие произведения читал в оригинале), он не уставал доказывать, что и в живописи, и в художественной словесности тенденциозность не сводима к социальной тематике и изображению страданий рабочего класса, а главное, что не бывает “левой” и “правой”, красоты и результат в искусстве, в том числе и революционном, “достигается только художественными средствами” [2. S. 261].

Размышления Крлежи по этому поводу перекликались в те годы с размышлениями советского критика А.К. Воронского. Не случайно Крлежа ссылается на него в своем знаменитом, по сути программном, “Предисловии” к альбому хорватского художника К. Хегедушича “Подравские мотивы” (1933). Оба они, и югославский писатель, и советский критик, выступали против вульгаризации художественного творчества. Ни в коей мере не отрицая интеллектуальной силы искусства, они в то же время утверждали интуитивные истоки самого творческого процесса. Приведу по одному высказыванию того и другого. Воронский пишет в статье “Искусство видеть мир” (1928): “Для того чтобы дать волю художественным потенциям, надо стать невещественным, глупым, отрешиться от всего, что вносит в первоначальное восприятие рассудок” [3. С. 421]. М. Крлежа: “Талантливо творить – значит подчиниться

сильным жизненным инстинктам, вопрос художественного дара не является вопросом ни мозга, ни разума» [2. С. 259]. При этом хорватский писатель не менее эмоционально убеждал, что «искусство не существует вне вещей, и “потусторонние” мотивы в нем, как и мотивы “посюсторонние”, возникают на земле, связаны с землей точно так же, как и красота» [2. С. 253]. Воронский же утверждал: “В интуиции нет ничего божественного, нет эмпирического”; “Красота не есть лишь наше субъективное состояние, она существует в природе” [3. С. 352, 417].

Неудивительно, что были сходны и обвинения в их адрес со стороны пролетарских критиков. Им ставили в вину “пренебрежение к самому передовому мировоззрению”, проповедь “интуитивизма” и “иррационализма”. Кончилось, как известно, обвинениями куда более серьезными – оба были объявлены троцкистами. Воронский погиб в ГУЛАГе, Крлежа исключен из партии и объявлен врагом рабочего класса и его партии.

Усилия руководства КПЮ, в частности двух секретарей ЦК – М. Горкича и Й. Броз Тито – превратить Крлежу в знамя культурной политики партии, адепта социальной литературы в межвоенные годы не увенчались успехом. Зато после победы в Югославии социалистической революции эта задача была практически полностью выполнена. Общественная позиция Крлежи, вызывавшая в послевоенные годы (особенно с 1960-х годов) все большее отторжение со стороны новых поколений творческой интеллигенции, требует еще глубокого изучения, желания понять психологическое состояние писателя, со второй половины 1930-х годов находившегося в конфликте с близкими ему по политическим взглядам людьми, лишившегося своих старых друзей – бывших руководителей КПЮ (они погибли в СССР) и пережившего практически полное одиночество в годы Второй мировой войны. Не восстановив отношения с победившей партией (а он разделял ее основные позиции), Крлежа не мог рассчитывать на продолжение своей жизни как писателя. Он принял протянутую руку, хотя, видимо, понимал, пусть не до конца, какую цену ему за это придется заплатить. Но многое он все же предвидел. Недаром в своих дневниковых записях и даже публикациях он не раз касался судьбы М. Горького после его возвращения в СССР. Вероятно, внутренне он сравнивал ее с собственным положением и пытался найти ему объяснение, хотя бы для себя. Сравнению позиций М. Горького и М. Крлежи посвящен раздел в книге П. Джаджича: [4].

А это положение при всем внешнем благополучии – Крлежа вновь в партии (до 1967 г. – член ЦК СКХ), осыпан наградами и премиями, одарен дружбой с Вождем, занимает видные должности, его авторитет официально непререкаем – для такого человека, как он, было поистине трагическим. Трагичность обуславливалась прежде всего его внутренней настроенностью. Приняв правила игры, он вынужден был не только поддерживать политику Тито, но и славить его. Еще труднее было молчать о важнейших событиях внутри страны и тех, что были связаны с ее внешней политикой. В межвоенные годы, в королевской Югославии, он открыто, причем под угрозой ареста, запрета издававшихся им журналов и собственных произведений, выступал в защиту революционных событий в Германии и Венгрии, организовывал помощь голодающим России, без всякой идеализации рассказывал о жизни в СССР, вступался за арестованного писателя-коммуниста А. Цесарца и поддерживал В. Назора, отнюдь не близкого ему по взглядам писателя и человека, когда того принудительно отправили досрочно на пенсию. В те годы он, отстаивая свои убеждения и защищая своих коллег-единомышленников по журналу “Печат” (1939–1940), пошел на конфликт с руководством партии. А после 1945 г. Крлежа не поднял голоса против югославского ГУЛАГа, не произнес ни слова о венгерских и чешских событиях, публично не выступил по поводу репрессий начала 1970-х годов в Хорватии. Бывший возмутитель спокойствия, зачинщик бесчисленных дискуссий по самым различным вопросам, был превращен в культовую фигуру социалистического искусства Югославии, притом без всякого видимого противодействия с его стороны. Наверное, срабатывал не только инстинкт самосохранения. Крлежа сам называл себя больше-

виком, не отрицал необходимости революционного насилия, он считал, что в СССР были попорчены ленинские принципы, которые в Югославии восстанавливает Тито. Хорошо знакомые нам заблуждения наших шестидесятников, не миновавшие и многих из нас.

Вместе с тем были и внешние факторы, усиливающие драматизм ситуации и делающие ее для Крлежи особенно болезненной. Начиная с 1950-х годов творчество писателя практически оказалось вне серьезной литературно-критической оценки. В лучшем случае нейтрально-аналитический тон сохранялся в литературоведении. Такое положение, с одной стороны, способствовало созданию ореола неприкасаемости писателя для критики и своего рода вакуума вокруг него. Особенно далеки от Крлежи были молодые литературные поколения. Недаром у него возникало чувство, что “его никто не слушает, никого не интересует то, что он сказал или мог бы сказать” [5. S. 12] (первое книжное издание вышло в Загребе в 1969 г. Часть книги была переведена в Германии, Дании, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Австрии. Первоначальный текст публиковался в парижской “Le Monde” в 1968 г.). А с другой стороны, у писателя выработывалась привычка к постоянному одобрению и весьма острое неприятие любой, даже очень деликатной критики.

Спасали его, как и в 30-е годы, когда им были созданы лучшие драматургические, лирические, эссеистские и прозаические произведения, литературный труд и работа по созданию Энциклопедии Югославии, которую Крлежа возглавлял с 1950 г. до конца дней. В опубликованных им в послевоенные годы мемуарной прозе (“Детство в Аграме”, 1952), “Дневниках” (начали публиковаться с 1953 г.), драме “Аретей” (1959), третьей книге романа “Банкет в Блитве” (1961) и, наконец, в пятитомной эпопее “Знамена” (1962–1978) писатель продолжает разрабатывать основные темы своего предшествующего творчества. В микромире социального и духовного опыта Хорватии с конца XIX в. и вплоть до 40-х годов XX в. писатель обнажал общие европейские процессы. На материале прошлого он беспощадно разоблачал тоталитарную идеологию, в какие бы одежды она ни рядилась и под какими бы знаменами ни выступала. Одной из важнейших тем его творчества стало развенчание страха, лжи и глупости – как он говорил, “атмосферы поджатых хвостов” – и прославление человеческого достоинства, человеческой индивидуальности и силы человеческого духа. Он постоянно искал адекватный художественный язык, призванный отразить жестокие социальные катастрофы времени и радикальный пересмотр национального мифологического сознания. Определяющей чертой его стиля был бескомпромиссный, трезвый критицизм, постоянное столкновение разных точек зрения, как бы проверяющих на прочность то или иное суждение, и мужественная защита гуманистической позиции. Он не боялся морализирующего осмысления и толкования действительности, как и явного проявления интереса к общественной психологии и широком историческом и культурном аналогиям. Писатель часто обращался к литературной памяти читателей, вызывая ассоциации с героями отечественной и мировой классики. Среди наиболее часто привлекаемых им писателей были Шеноа и Краньчевич, Петефи и Ади, Достоевский и Э.Роттердамский. Для Крлежи и в послевоенные годы мерилом ценности взглядов на мир оставалось искусство и – шире – печатное слово: “шкатулка со свинцовыми буквами – по его мнению – это немного, но это единственное, что до сих пор служило человеку оружием в защите своего человеческого достоинства”. Видя в художественном творчестве альтернативу текущей политике, он тем самым метафорически, косвенно затрагивал и дилеммы югославского социализма. Но от него ждали другого – прямого публицистического и художественного разговора о конфликтах социалистической Югославии.

В беседах с хорватским литератором и общественным деятелем Предрагом Матеевичем он пытается на некоторые из них ответить, но его ответы мало соотносились со временем. Они лишь подтверждали неизменность его взглядов. “Мы были убежденно последовательны, – скажет он, – в бескомпромиссной поддержке социализма, а в литературе – свободы, против какой бы то ни было цензуры, хотя бы и со-

циалистической” [5. S. 45]. Однако Крлежа не был бы Крлежей, если бы постоянно не подвергал собственные высказывания сомнению. В том же 1968 г., к которому относится вышеприведенное высказывание, он делает запись в своем дневнике (она была опубликована в 1972 г. в журнале “Форум”). В ней отразились вся его боль и разочарование. “Нам нечего сказать друг другу, – пишет он. – Будем же людьми и признаем, что нам нечего сказать ни себе, ни вообще кому бы то ни было; ни у коммунистов, ни у некоммунистов нет никакой идеи, и мы не знаем, кто мы такие, чего мы хотим и что мы, черт побери, за писатели, к тому же еще члены партии, политической партии...” (цит. по: [6. S. 408]).

Пройдет время, улягутся страсти, и к такому темпераментному и упорному в своей правоте, как и неправоте, писателю, как Крлежа, можно будет подойти без идеологической предвзятости и понять психологию интеллигентов XX в., для которых внутренним кредо стал социализм, понять их личную, интеллектуальную драму и воспринять тот моральный урок, который они дали будущим поколениям.

Испытание практикой социализм в XX в. не выдержал. И этого не могли не видеть даже те, кто сохранил приверженность этому учению. Это создавало для них трагическую ситуацию выбора между свободой художественного слова и политикой господствующей коммунистической партии, защитой гуманистических ценностей и признанием за социалистическим государством права на революционное насилие и принуждение. Крлежа, как и другие писатели, жившие в социалистическом обществе, не избежал этой ситуации. Найти из нее достойный выход он пытался в искусстве и часто находил его, как бы это ни звучало сейчас старомодно, во многом “несмотря” и “вопреки” своим идеологическим позициям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Krleža M.* Izlet u Rusiju. Sabrana djela. Sv.17. Zagreb, 1960.
2. *Krleža M.* Predgovor “Podravskim motivima” Krste Hegedušića // M. Šicel. Programi i manifesti u hrvatskoj književnosti. Zagreb, 1972.
3. *Воронский А.К.* Избранные статьи о литературе. М., 1982.
4. *Džadžić P.* Homo balkanicus, homo heroicus. Beograd, 1987.
5. *Matvejević P.* Razgovori s Krležem. Beograd, 1987 (6-е изд.).
6. *Lasić S.* Krleža. Kronologija života i rada. Zagreb, 1982.



© 2003 г. А. А. УЛУНЯН

ВОЗРОЖДЕННАЯ БОЛГАРИЯ (К 125-летию освобождения Болгарии)

Весной 1878 г. свершилось одно из величайших событий европейской истории последней четверти XIX в. Восточный кризис 1875–1878 гг. завершился русско-турецкой войной 1877–1878 гг., освободившей болгарский народ от иноземного ига. Свершилась многовековая мечта болгарского народа, с надеждой взиравшего на Россию и считавшего, что освобождение Болгарии возможно только с помощью русского оружия.

Известный болгарский поэт Д. Чинтулов, участник национально-освободительной борьбы, с восторгом встретил российские войска, освободившие в январе 1878 г. Сливен. В своей пламенной речи он, в частности, сказал: “Наконец господь Бог услышал молитвы рабов своих; надежды и ожидания болгарского народа осуществляются! Нет уже неслыханных раздражающих сердце свирепств, нет ужаснейших угнетений, нет никакого страха, мы уже люди свободные, видим перед собою христоролюбивое и победоносное воинство наших единокровных россиян... Грядите, грядите убо давножданые дорогие гости, приступите смелою стопою к нашему городу; его население, изнуренное тяжкими страданиями, со слезами на глазах ждет вас с распростертыми объятиями. Утешьте его своим присутствием. Вылечите его свежие и дымящиеся еще раны целительным бальзамом разумной свободы и правосудья...” [1. С. 769, 770].

Этому знаменательному событию предшествовали многолетние дипломатические усилия русского правительства мирным путем решить вопрос балканских славян. Но великие державы считали нецелесообразным выступление в защиту славянских народов Балканского полуострова. Жестокое подавление Апрельского восстания 1876 г. в Болгарии правительством султана Абдул Гамида не вызвало возмущения и протеста посла Великобритании в Константинополе сэра Г. Эллиота. Он со всей циничностью высказал отношение правительственных кругов к событиям в Болгарии. В письме министру иностранных дел лорду Э. Дерби посол писал: “По моему мнению, так же и по мнению многих английских политических деятелей, жертвы болгар – 10 или 20 тыс. человек – обычное явление в этой полуцивилизованной азиатской стране... и эти жертвы не должны быть достаточной причиной для того, чтобы мы изменили единственно правильную политику, которая одна может сохранить наши интересы” [2. Р. 331].

Россия не могла оставаться безучастной к многочисленным обращениям и просьбам болгар о помощи, к событиям в Болгарии, где турецкие власти при попустительстве западноевропейских политиков продолжали насилие над мирным болгарским населением. В июне 1876 г. русский посол в Константинополе граф Н.П. Игнатьев, уд-

Улунян Акоп Арутюнович – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

рученный действиями западноевропейской дипломатии и встревоженный международным положением России, в записке императору Александру II дал анализ политических событий на Балканах. По его мнению, Россия не должна упускать создавшуюся политическую обстановку, вызванную Восточным кризисом, для решения вопроса как о южных славянах, так и о других народах Балканского полуострова [3. Д. 29. Л. 465–471].

Победа России в войне, доставшаяся ей ценой огромных людских и материальных жертв, способствовала возрождению болгарской государственности и получению независимости Сербией, Черногорией, Румынией. "...Заря болгарской свободы, – пишет болгарский профессор С. Райкин, – взошла над родными просторами 3-го марта 1878 г. в небольшом предместье Царьграда – Сан-Стефано. Александр II, генерал Гурко и граф Игнатъев вывели Болгарию из небытия и сделали болгарский народ гордым членом в семье цивилизованных народов. Без 3-го марта и Сан-Стефано никто не смог бы отгадать, какая судьба была бы предопределена Болгарии и болгарскому народу. Может быть, и до сих пор мы разделили бы участь армян и курдов¹.

Дизраэли, Андраши и Бисмарк разорвали Сан-Стефанскую Болгарию на куски и бросили ее в пасть векового поработителя..." [4. Т. 1. С. 190, 191].

Западные страны, и в первую очередь Великобритания и Австро-Венгрия, которую поддерживала Германия, не могли смириться с мыслью об укреплении авторитета и позиций России на Балканах. Они увидели опасность для своих корыстных интересов в столь благополучном решении судьбы болгарского народа.

На политической арене генеральские мундиры сменили смокинги дипломатов. Россия, вынесшая на своих плечах основные тяготы войны с османской Турцией, готовилась предстать перед западным ареопагом, искусно подготовленным "честным маклером" О. Бисмарком. Западные державы единым фронтом выступили против стремления России заключить с Турцией мир на условиях, отвечавших итогам войны. Россия вынуждена была передать некоторые статьи Сан-Стефанского прелиминарного договора, имевшие, по мнению западной дипломатии, общеевропейское значение на обсуждение международного конгресса. На Берлинском конгрессе (1/13.VI – 1/13.VII 1878 г.) под председательством О. Бисмарка в дипломатической борьбе Россия оказалась в одиночестве. На сторону западной дипломатии открыто перешла Франция, "отблагодарив" Россию, спасшую ее весной 1875 г. от повторного разгрома армией "железного канцлера".

В итоге бесцеремонного вмешательства западных государств в судьбу болгарского народа он был разъединен искусственно проведенной границей. Политика западноевропейских держав против России и славянских народов Балканского полуострова являлась политикой поддержки неустойчивого феодально-деспотического строя Османской империи, с помощью которого им легко было укрепить свои собственные позиции на Балканах. В результате решений Берлинского конгресса создание единого Болгарского государства откладывалось на неопределенное время. Насильственное деление западной дипломатией болгарского народа нарушало экономическое единство нации, задерживало развитие производительных сил и развитие капитализма в стране.

Невзирая на трудности дипломатической борьбы, в которой Россия оказалась в одиночестве, ее представители с успехом преодолели хитросплетения западной дипломатии, пытавшейся добиться смешанной оккупации Болгарии под наблюдением европейской комиссии, решительно отвергли домогательства Англии и Австро-Венгрии ввести в Южную Болгарию (Восточную Румелию) турецкие войска и тем самым спасли ее от повторно нависшего над ней османского ига, фактически создали предпосылки для будущего воссоединения Северной и Южной Болгарии. Македония и Фракия по воле западной дипломатии возвращались в состав Османской империи.

¹ Имеется в виду Западная Армения и часть Курдистана, насильственно включенные в состав Османской империи.

Решения Берлинского конгресса способствовали продолжению национально-освободительного движения болгарского народа. 5 октября 1878 г. в Македонии началось восстание, известное как Креснеско-Разложское, направленное против принятых конгрессом постановлений. Самоотверженная борьба повстанцев была подавлена правительственными войсками к весне 1879 г.

Правительства Англии и Австро-Венгрии стремились вмешаться в создание будущих государственно-правовых институтов Болгарского княжества. Предвидя трудности, с какими столкнется в этом вопросе русская администрация, западная дипломатия добилась на Берлинском конгрессе решения о сокращении срока пребывания русских войск в освобожденной Болгарии с двух лет до девяти месяцев. Державы – участницы конгресса не только надеялись, но и были уверены, что Россия в такой короткий срок не успеет создать в молодом Болгарском княжестве новую администрацию, и тогда вмешается Запад.

Однако эти расчеты не оправдались. Россия в сжатые сроки блестяще справилась с поставленной задачей: болгарская государственность была воссоздана.

Консервативная газета “Новое время” в своей публикации от 6 февраля 1879 г. привела высказывание немецкой газеты “Politische Correspondenz”, вынужденной признать успехи русской администрации в Северной и Южной Болгарии: “Там управляют энергичные и знающие страну талантливые русские администраторы”. Административная служба временного Русского гражданского управления и устройства Болгарии создавалась накануне русско-турецкой войны правительством Александра II. Возглавить временное Русское гражданское управление Болгарии при Главнокомандующем 1 ноября 1876 г. было поручено князю В.А. Черкасскому, видному общественному деятелю консервативного направления, близкому к славянским кругам и обладавшему солидным опытом государственной службы.

С самого начала своей деятельности Черкасский поставил целью изучить политическое и экономическое положение Болгарии. Эта работа была необходима в связи с подготовкой проекта реформ в стране.

Особое внимание Русское гражданское управление уделяло подбору кадров для организации административного управления как на местах, так и в канцелярии заведующего гражданскими делами. Исходя из своей конечной цели – заложить основы свободного Болгарского государства – Русское гражданское управление стремилось комплектовать государственный аппарат из лиц болгарской национальности. Высшие административные должности, которые занимали русские, впоследствии предстояло передать болгарам.

Для создания административного аппарата гражданского управления на освобожденной территории Болгарии Черкасскому были необходимы кадры из образованных болгар. С этой целью он обратился с письмом к представителям славянских комитетов Москвы и Петербурга, а также к руководству Одесского болгарского настоятельства с просьбой прислать сведения о болгарях, обучавшихся в России.

18 мая 1877 г. Черкасский получил письмо от Одесского болгарского настоятельства со списком болгарской молодежи, обучавшейся в России с 1854 по 1877 г. Руководители настоятельства при составлении списка не только перечислили воспитанников по фамилиям, но, что особенно важно, сообщали об их дальнейшей судьбе, работе, месте пребывания и политической благонадежности [5. С. 161].

По сообщению либеральной газеты “Новороссийский телеграф” от 18 февраля 1878 г., в Бухаресте значительно уменьшилась болгарская колония. Большинство молодых и интеллигентных болгар выехали на службу в Русское гражданское управление.

В итоге Русскому гражданскому управлению удалось добиться того, что из более чем 3 тыс. чиновников, занятых в государственном аппарате, русских было всего 150 человек [6. С. 333; 7. Т. 3. С. 340–364].

Создавая на освобожденной территории административный аппарат, Управление немедленно приступило к оказанию помощи болгарскому населению, попавшему в бедственное положение в результате военных действий и пострадавшему от грабежей

и разбоев турецких войск. Оно проявило гуманное отношение и к турецким беженцам. Это были в основном крестьяне, которые не принимали участие в грабежах и насилиях над болгарами. Их земельная собственность не отбиралась [8. С. 240–261]. Вместе с тем, стремясь помочь болгарскому крестьянству в решении аграрного вопроса, Русское гражданское управление не препятствовало захвату земель турецких феодалов, покинувших страну. Русские власти дали возможность населению укрепить свое хозяйство и тем самым повысили платежеспособность, было принято решение об отмене некоторых налогов. Вообще в период деятельности Управления болгарское население успело привыкнуть к послаблениям со стороны финансовых органов.

Оказывая разностороннюю помощь молодому Болгарскому государству, Управление принялось за организацию медицинского обслуживания. В период османского ига такового не существовало, население в основном прибегало к народной медицине. Врачебной практикой занимались преимущественно иностранцы. В стране имелось всего несколько больниц. Медицинское обслуживание болгарского населения берет начало со времен форсирования Дуная русской армией, в составе которой находились 1600 врачей и около 2 тыс. сестер милосердия [7. Т. 3. С. 155]. 1 февраля 1879 г. были утверждены “Временные правила по устройству медицинского управления в Болгарии”. Серьезное внимание обращалось на улучшение санитарно-гигиенического состояния городов и сел, так как турецкие власти в период своего господства не проявляли никакой заботы в этом отношении.

Большое внимание было уделено вопросам народного образования и культурно-просветительской деятельности.

Русское гражданское управление не забыло и о создании правовой системы в стране. В сентябре 1878 г. были опубликованы “Временные правила для устройства судебной части в Болгарии”, согласно которым состав судов частично избирался и в своих действиях был независим от административной власти [9. С. 193–201].

Русское правительство придавало особое значение организации армии молодого Болгарского государства. Предстояло в ограниченные сроки создать боеспособные вооруженные силы. В апреле 1878 г. Александр II утвердил “Временные правила для образования Земского Войска княжества Болгарии” и “Инструкцию для обучения ратников Земского войска”. Эти два документа послужили руководством для гражданского управления в области военного строительства Болгарии. Ядром будущей армии явилось Болгарское ополчение, преобразованное в Земское войско. Была введена всеобщая воинская повинность с двухгодичным сроком службы, на которую призывались граждане в возрасте от 20 до 30 лет. Для быстрого обучения и формирования Земского войска из состава Действующей армии были откомандированы инструкторы. Со складов русской армии было получено все необходимое вооружение. Особое внимание уделялось состоянию артиллерии, которой русское командование придавало исключительное значение.

Русское правительство способствовало созданию болгарского военно-морского флота на Дунае и Черном море. С этой целью Болгарскому княжеству были переданы пять военных кораблей, суда, катера и гребные лодки. В первое время обслуживать болгарский флот помогали русские добровольцы [10. С. 22]. Для медицинского обслуживания болгарской армии поступили медикаменты и санитарное снаряжение с запасом на два года [7. Т. 3. С. 246].

По приказу князя А.М. Дондукова-Корсакова² в Софии открылось военное училище. Преподавали в нем наиболее образованные и преданные болгарскому делу русские офицеры. Из России были привезены все необходимые пособия и богатая

² После смерти В.А. Черкасского 19 II (3 III) 1878 г. его заменил генерал-адъютант, князь А.М. Дондуков-Корсаков. В период войны командовал XIII армейским корпусом. С мая 1878 по июнь 1879 г. – русский комиссар в Болгарии и командующий оккупационным корпусом.

библиотека по военной истории. Тяготевшая к военной карьере часть болгарской молодежи направлялась также в русские военные учебные заведения.

Сложнее обстояло дело с созданием вооруженных сил Восточной Румелии (Южной Болгарии). По решению Берлинского конгресса здесь наряду с русской администрацией действовала Европейская международная комиссия, стремившаяся навязать Южной Болгарии диктат западных государств. Русское временное управление приняло меры по организации болгарской администрации в Южной Болгарии, и с помощью русских инструкторов там была создана милиция автономной провинции. Создать же постоянное войско из-за противодействия западных стран не удалось.

Выступление болгарского народа за отмену решений Берлинского конгресса привело к созданию комитетов “Единство” как в Северной, так и в Южной Болгарии. Комитеты “Единство” в Южной Болгарии поддержали стихийно возникшие стрелково-гимнастические общества, которые охраняли болгарские села от действовавших в Родопских горах шаек башибузуков³ и готовились отразить возможное вторжение турецких войск. Члены стрелково-гимнастических обществ под руководством сначала бывших ополченцев, а впоследствии младших командиров и солдат русской оккупационной армии успешно изучали военное дело и строевую подготовку. Русское командование передало стрелково-гимнастическим обществам более 900 тыс. ружей с боеприпасами.

Приближалось время вывода русских войск из Восточной Румелии. К этому времени султанское правительство старалось создать напряженное положение на границах провинции с тем, чтобы ввести войска на ее территорию.

Русское гражданское управление предприняло ряд дипломатических шагов – от обращения к членам Европейской международной комиссии до непосредственных контактов с султанскими властями. Переговоры не дали желанных результатов, и русское командование было вынуждено приступить к организации обороны. Массовое вооружение населения Южной Болгарии сорвало планы западной дипломатии по реставрации турецких феодальных порядков в автономной провинции [11. С. 5–36; 12]. Завершающим этапом деятельности Русского гражданского управления в Болгарии явилась подготовка конституции Болгарского княжества и Восточной Румелии. Под руководством заведующего судебным отделом при гражданском управлении русского комиссара С.И. Лукьянова, при непосредственном участии князя А.М. Дондукова-Корсакова был разработан первоначальный проект Органического устава (конституции) Болгарского княжества. Консервативный проект Лукьянова был изменен в сторону либерализации именно в Петербурге [13. С. 222–261], где хотели создать такую конституцию, которая могла стать законодательной основой для воссоединения Северной и Южной Болгарии. Вместе с тем составителям конституции нельзя было не считаться с ростом национального самосознания болгарского народа. В проекте конституции были расширены права Народного собрания и увеличено число избираемых народом депутатов. Либеральная конституция была призвана еще больше поднять и укрепить престиж России в глазах болгарского народа и закрепить итоги освобождения.

Для обсуждения и одобрения проекта Органического устава 10(22) февраля 1879 г. было созвано Учредительное собрание в древней столице Болгарии Велико Тырнове.

В ходе обсуждения проекта образовались две противостоявшие друг другу партии – консервативная, выражавшая интересы крупной торгово-ростовщической и земельной буржуазии, и либеральная, состоявшая из мелкой и средней городской буржуазии и крестьянства. Первые выступали за усиление княжеской власти, вторые – за изменение конституции в демократическом духе. В разгоревшейся дискуссии победили либералы. Особо следует подчеркнуть роль А.М. Дондукова-Корсакова на этом этапе. Князь лучше многих других петербургских деятелей понимал об-

³ Башибузуки – иррегулярные части турецкой армии.

становку в Болгарии и предоставил депутатам тырновского собрания полную свободу обсуждения проекта. Вместе с тем, опасаясь иностранного вмешательства, он торопил их с принятием решения, чтобы скорее закрепить новую государственность в Болгарии и стабилизировать международное положение княжества. Принятый Учредительным собранием Органический устав стал первой болгарской конституцией и получил название Тырновской.

В отличие от Тырновской конституции Органический устав для Восточной Румелии обсуждался в Международной европейской комиссии. Русская дипломатия приложила огромные усилия для быстреего утверждения конституции автономной провинции, чтобы укрепить ее статус и добиться большей самостоятельности Южной Болгарии по отношению к Турции.

После утверждения конституции Учредительное собрание 16(28) апреля 1879 г. было распущено, и на следующий же день в Велико Тырново созвано Великое Народное собрание для избрания князя. По единодушному решению депутатов болгарским князем стал Александр Баттенберг, двадцатидвухлетний прусский офицер, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., племянник супруги русского императора Александра II Марии Александровны.

В конце июня 1879 г. А. Баттенберг прибыл в Велико Тырново и принес присягу перед Великим Народным собранием, а через несколько дней переехал в Софию и принял от князя А.М. Дондукова-Корсакова управление страной.

Период напряженной деятельности Русского гражданского управления подходил к концу. За девять месяцев своего существования Управление проделало колоссальную созидательную работу. При помощи России были созданы хорошо оснащенная и обученная армия с кавалерией, артиллерией и инженерными частями, а также военно-морской флот.

Новая администрация сумела организовать систему народного просвещения, медицинской помощи, почтово-телеграфного сообщения, сформировать судебные органы и государственный аппарат. В первых числах июля 1879 г. чиновники Русского гражданского управления и русские войска покинули Болгарию.

Невольно вспоминаются слова видного болгарского ученого, академика Д. Косева: "...каждому образованному человеку хорошо известно, что в конце концов после почти вековой борьбы балканских народов, всегда связанной в решительные моменты с Россией и с русско-турецкими войнами, они получают освобождение, хотя и неполное... и создают самостоятельные балканские государства, а Россия не получает и клочка земли на Балканском полуострове" [14. С. 36, 37].

"...Помощь России в освобождении Болгарии, – пишет современный болгарский историк, депутат Народного собрания, профессор А. Пантев, – является неумолимым и неизбежным реальным фактом в болгарской истории", который в угоду конъюнктуре сегодня стремятся принизить некоторые "модернизаторы". "Россия совершила великую освободительную миссию в Европе. И в данном случае Россия оказалась в большей степени европейским государством, нежели те либеральные общества, которые с безразличием смотрели на многовековые страдания болгарского народа" [15. С. 3, 4].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Освобождението. Спомени. София, 1978.
2. *Seton Watson R.W.* Disraeli, Gladston and the Eastern question. New-York, 1962.
3. АВПРИ. Ф.Канцелярия, 1876. Записка Н.П. Игнатъева Александру II от 8(20) июня.
4. *Райкин С.Т.* Политически проблема пред българската общественост в чужбина. София, 1993.
5. *Улуян А.А.* Болгарская молодежь в учебных заведениях России (1854–1877 гг.) // История и культура Болгарии. М., 1981.
6. *Гандев Хр.* Руската помощ за изграждането на българската държава през 1877–1879 // Освобождението на България от турско иго (1878–1879 гг.). Сб. статей. София, 1958.

7. Освобождение Болгарии от турецкого ига. Сб. документов. М.,1967.
8. Улунян А.А. Неопубликованные материалы по истории русско-турецкой войны 1877–1878 // Славянское источниковедение. М.,1965.
9. Сборник материалов по гражданскому управлению и оккупации в Болгарии в 1877–78–79. СПб.,1903. Вып.1.
10. Конобеев В.Д. К вопросу о передаче Болгарии в 1878 г. русских судов Дунайской флотилии // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. 1952. № 9.
11. Конобеев В.Д., Зуева Н.В., Шатохина Е.М. Из истории борьбы за национальную автономию Южной Болгарии в 1878–1879 гг. (Организация народной обороны) // Сб. Юбилей дружбы. Кишинев, 1969.
12. Генов Ц. Народната гвардия на Южна България 1878–1879 гг. София, 1958.
13. Козьменко И.В. Первоначальный проект Тырновской конституции // Освобождение Болгарии от турецкого ига. Сб.статей. М., 1953.
14. Косев Д. Против фальсификации роли России в борьбе балканских народов за освобождение от османского ига // Новая и новейшая история. 1979. № 5.
15. Пантев А. Велика, Освободителна войны // Български хоризонти. Кишинев, 2002. № 2.



© 2003 г. А.КОЛИН, А.С.СТЫКАЛИН

О РАБОТЕ КОМИССИИ ИСТОРИКОВ РОССИИ И РУМЫНИИ

На рубеже 1990-х–2000-х годов, после нескольких лет застоя, активизировала работу российско-румынская двусторонняя комиссия историков, у истоков которой в начале 1970-х годов стоял академик И.И. Минц. В деятельности комиссии с российской стороны принимают активное участие видные отечественные историки академик Л.В. Милов, В.Н. Виноградов, В.Я. Гросул, И.И. Орлик, А.А. Язькова, Л.Е. Семенова, литературовед М.В. Фридман и др. Вслед за конференцией по широкому кругу проблем двусторонних отношений, состоявшейся осенью 2000 г. в Бухаресте, в октябре 2001 г. в Москве прошла новая конференция историков двух стран.

Предметом первого заседания была история общественной мысли как в Румынии, так и России в XIX – начале XX в., при этом некоторые выступавшие указывали на параллели в эволюции идейных течений двух стран, “догонявших” более развитый Запад. Эти параллели были обусловлены общностью социальной структуры, равно как и объективно стоявших экономических задач. Академик Румынской академии наук *Д. Бериндей*, сославшись на слова известного писателя Алеку Руссо о том, что Молдова и Валахия за 15 лет после 1835 г. пережили больше событий, чем за предшествующие 500 лет, сосредоточил свое внимание на духовном развитии румынской политической элиты в течение нескольких десятилетий XIX в. Адрианопольский мир 1829 г. дал импульс модернизации Дунайских княжеств, при этом российская администрация во главе с приверженцем идей французского Просвещения генералом П.Д. Киселевым обычно не препятствовала желанию румынской дворянской молодежи учиться на Западе. В 1830–1840-е годы в первую очередь во Франции формируется поколение политиков и интеллектуалов, которому предстояло встать во главе румынской нации после объединения Дунайских княжеств в 1859 г.

Принадлежность большинства этих людей к социальной элите румынского общества не всегда способствовала овладению ими на Западе сугубо профессиональными навыками в той или иной области знаний (в том числе технических и естественнонаучных) и в то же время не помешала их приобщению к передовым политическим идеям. В идеологический арсенал молодого поколения входили Декларация прав человека и гражданина 1789 г., революционные традиции Великой Французской революции, радикализм и даже социалистические идеи эпохи Реставрации; при этом прогресс своей родины связывался его представителями с прогрессом общечеловеческим. Вера в интернациональную солидарность народов проявилась на практике в тесных контактах с польскими эмигрантами.

Колин Анжела – д-р, старший научный сотрудник Института истории им. Н. Йорги Румынской академии наук.

Стыкалин Александр Сергеевич – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Поражение революции 1848 г. заставило многих перейти на более умеренные позиции, хотя бы на время отказаться от республиканских идей, сделав выбор в пользу просвещенной монархии, в которой видели теперь необходимую ступень в общественном развитии. Вернувшись на родину во второй половине 1850-х годов и приобщившись к руководству национальным движением, бывшие радикалы (и в частности, последовательный противник всякой сословности К. Россети) были вынуждены адаптироваться к новым реальностям. Не поступаясь принципом прогресса и большинством своих реформаторских идей, они в то же время должны были пойти на компромисс с консерваторами, поскольку без этого было невозможно их участие в создании национальной государственности. Их последующее постепенное вытеснение из властных структур было вызвано в первую очередь не внутренними причинами, а сильным давлением западных держав, начиная с Парижского конгресса 1856 г. проявивших интерес к проблеме румынского суверенитета. Стремление бывших радикалов к практической реализации своей национальной программы стало важным источником обновления румынского общества, без их деятельного участия было бы невозможно проведение финансовой, судебной, военной реформ, начало строительства железных дорог. В последующие десятилетия, вплоть до Первой мировой войны, традиция политического радикализма Россети была жива в политической жизни Румынии, находя проявление в требованиях демократизации выборной системы, определенного передела собственности.

В.Н. Виноградов (Исл РАН) обратил внимание на серьезные противоречия в румынской эмигрантской среде 1840–1850-х годов, сославшись на слова известного революционного деятеля Н. Бэлческу: “Париж полон реакционеров, но все они выдают себя за революционеров”. Ведущие позиции в эмиграции занимали выходцы из аристократии, впоследствии получившие ключевые посты в первых правительствах единой Румынии и объективно способствовавшие развитию страны по пути прогресса. Что касается Н. Бэлческу, то он остался благородным революционным утопистом, возлагавшим тщетные надежды на крестьянское восстание в Румынии; при этом в июне 1849 г. он прятался от мятежных румынских крестьян, резонно опасаясь расправы. Революционно-демократическое движение 1848 г. не имело широкой социальной базы, дух мятежа не проник глубоко в массы, крестьянство в движении не играло важной роли.

Компромисс поднимающейся буржуазии с дворянством и аристократией был в Европе XIX в. всеобщим явлением. В Румынии 1860-х годов этот союз принял гротесковые формы, производя противостественное впечатление на многих современников (возникло даже такое понятие, как “чудовищная коалиция”). В этом союзе буржуазии в большей мере приходилось приспосабливаться к феодальным, патриархальным отношениям, нежели дворянству к капиталистическим порядкам (когда М. Когэлничану в бытность премьер-министром в 1863–1865 гг., ссылаясь на российский пример, потребовал отмены крепостного права, он натолкнулся на мощное сопротивление). Тем не менее именно союз буржуазии и аристократии становится движущей силой развития Румынии. В идейном плане компромисс со стороны буржуазии означал ее эволюцию от либерализма и радикализма в направлении консерватизма, которому в Румынии, как и везде, было присуще разнообразие партийно-политических оттенков.

Поскольку прогрессивное развитие происходило только в рамках общего согласия буржуазно-помещичьей коалиции, как правило, сохранялся континуитет в проведении политической линии. Хотя смена власти подчас принимала острые формы, ни один из уже утвержденных основополагающих законов не был отменен. В Конституции 1866 г. нашли проявление идеи скорее либерализма, нежели консерватизма, более того, ее создатели отдали некоторую дань идеалам своей революционной молодости. Но из того, что было декларировано, многое не выполнялось на практике, поскольку подавляющее большинство граждан были далеки от участия в общественно-политической жизни. Как заметил один из иностранных наблюдателей,

конституционная мода не слишком-то отягощала “румынские плечи”, и дело здесь было в самом состоянии румынского общества. Еще и через 40 лет после введения Конституции, декларировавшей всеобщее право на образование, более 80% населения оставалось неграмотным. Будучи сшитой не по росту тогдашнего румынского общества, а как бы на вырост, Конституция 1866 г. все же сыграла важную роль в политической эволюции страны. Заложенные в ее основе принципы парламентаризма допускали постепенное реформирование Румынии без коренной ломки общественного строя, открывали дорогу прогрессу в различных областях. При этом новые явления социальной жизни вливались в уже готовую юридическую оболочку. Как подытожил свой анализ В.Н. Виноградов, сформировавшийся в своей основе еще в 1860-е годы консервативно-олигархический (хотя и конституционный) режим, предполагавший сильные позиции боярской аристократии, обнаружил большую способность к маневрированию в годы Первой мировой войны, по итогам которой Румыния смогла получить наиболее выгодные в своей истории государственные границы.

А. Мамина (Институт истории имени Н. Йорги Румынской академии наук) проследил развитие румынской консервативной мысли в XIX в., в которой наряду с традиционалистской присутствовала и эволюционистская тенденция. Возникнув в своем классическом варианте как реакция на Великую Французскую революцию, европейский консерватизм объединял различные идейные течения, которые отвергали революционные принципы и методы. Общим было также неприятие эгалитаризма. Вместе с тем ориентация на традиционалистскую политическую культуру не всегда сводилась к идеализации определенных моделей прошлого, требованиям возврата к ним. Подчеркивая необходимость органической связи с прошлым, некоторые мыслители консервативного направления пытались адаптировать свои политические идеалы к новым реалиям. В Румынии консерватизм прошел две стадии развития. Будучи в первой половине XIX в. идеологией крупного дворянства, это направление общественной мысли отличалось максимализмом в отстаивании традиций, неприятием перемен. Это проявилось в борьбе за сохранение боярских привилегий, средневековой налоговой системы. Политическим идеалом консерватизма оставалась аристократическая монархия. В середине XIX в. на политическую сцену выходит новое поколение консерваторов, получившее образование на Западе. Осознавая бесповоротный характер модернизации, эти люди признают необходимость умеренных реформ и даже участвуют в их осуществлении. При этом, однако, не упускались из виду социальные интересы боярской элиты – идеалом становится конституционная монархия, способная обеспечить руководящую роль более образованному слою.

Об истоках и дальнейшей эволюции российского политического консерватизма говорил *В.Я. Гросул* (Институт российской истории РАН). Долгие десятилетия это течение отечественной общественной мысли XIX в. оставалось наименее изученным. Ситуация стала меняться лишь с конца 1980-х годов, что объясняется как потребностями самого научного знания, так и более широкими социальными причинами – консервативной волной в 1980-е годы в развитых странах Запада, попытками создания в России после 1991 г. своей консервативной партии. Среди ученых нет единства мнений относительно того, когда в России зародились либерализм и консерватизм как противостоящие друг другу идейно-политические течения. Так, известный эмигрантский исследователь российского либерализма В.В. Леонтович связывал возникновение этих направлений с эпохой Екатерины II. По мнению В.Я. Гросула, это едва ли верно, поскольку применительно к екатерининскому времени речь лишь в самых исключительных случаях может идти о противниках крепостного права (отношение к крепостному праву и к конституционному политическому устройству выступает в этом случае как решающий критерий при отнесении того или иного мыслителя к консервативной либо к либеральной тенденции). С другой стороны, отдельные, даже очень последовательные консерваторы XVIII в. вроде князя М.М. Щербатова еще не составляли определенного течения, которое, считает В.Я. Гросул, возникло лишь как реакция на русский либерализм, сложившийся в качестве самостоятельного идейно-

политического феномена в начале царствования Александра I. Первым программным документом отечественного консерватизма стала “Записка о древней и новой России” (1811) Н.М. Карамзина, а серьезным политическим успехом – ссылка М.М. Сперанского в 1812 г.

В более широком, международном плане российский политический консерватизм явился порождением второй консервативной волны в Европе, возникшей как реакция на Великую Французскую революцию. Полемизируя с А. Маминой, по мнению которого европейский консерватизм существовал лишь в виде множества слабо связанных между собой, но типологически близких национальных консерватизмов, В.Я. Гросул отметил, что в эпоху Наполеона складывается своего рода “консервативный интернационал”, важную роль в котором играли представители французской аристократической эмиграции, разбросанные по всей Европе, в том числе жившие в России. Эта среда породила выдающихся идеологов консерватизма, таких как Ж. де Местр. Победа “консервативного интернационала” на международной арене проявилась в создании Священного Союза.

В.Я. Гросул согласился с тем, что внутри единого общеевропейского консервативного лагеря сосуществовали различные тенденции, в том числе аристократический конституционализм. В России различие позиций среди консерваторов в 1810–1820-е годы особенно проявилось в вопросах об отношении к языку и культурной традиции (разногласия между Н.М. Карамзиным и А.С. Шишковым). В эпоху Николая I консерватизм претерпел заметную эволюцию, главный акцент теперь делался не на традицию как таковую, а на национальные ценности (идеология официальной народности С.С. Уварова). При этом до середины 1850-х годов консервативное течение оставалось в России господствующим, отражая социальные интересы основной массы дворянства. Оказавшись со второй половины 1850-х годов в обороне, традиционный российский консерватизм продолжал эволюционировать, иногда сближаясь с умеренным либерализмом. Новая консервативная волна в российском обществе пришлось на время правления Александра III (эпоху контрреформ). В.Я. Гросул обошел в своем выступлении до сих пор вызывающий дискуссии вопрос о соотношении консерватизма и славянофильства в России.

А. Колин (Институт истории имени Н.Йорги) посвятила свое выступление политическим взглядам и практической деятельности графа И. Каподистрии, крупного деятеля греческого национального движения, в 1809–1827 гг. находившегося на российской дипломатической службе. После Бухарестского мира 1812 г. Каподистрии было поручено составить проект государственного устройства Бессарабии, края, присоединенного к Российской империи по итогам победоносной для нее русско-турецкой войны. Разработанный им проект отличало бережное отношение к молдавской государственной традиции; внедрение его в жизнь должно было означать сохранение преемственности с той системой правления, что действовала в Молдавском княжестве. С другой стороны, как доказывает А. Колин, в проекте нашли отражение либерально-реформаторские идеи Каподистрии, развитые им в статье “Замечания об истинных интересах Европы”, ряде записок, адресованных Александру I. Предложения греческого политика, воспитанного на идеях Просвещения и Великой Французской революции, относительно способов урегулирования ряда спорных международных проблем (о положении в Испании и судьбе ее американских владений, о Королевстве обеих Сицилий и др.) были, как правило, ориентированы на мирный путь их решения, на переговоры всех заинтересованных сторон. Тем самым они противоречили силовым принципам, которые исповедовали Меттерних и его единомышленники, заложившие основы Священного Союза. Поэтому идеи Каподистрии и оказались не востребованными на Венском конгрессе. Из его внутривнутриполитических проектов в более полной мере был реализован, хотя и на короткий срок, бессарабский, даровавший этому краю автономию и предоставивший молдавскому боярству большие права в сфере управления провинцией. Сам Каподистрия придавал своему бессарабскому проекту большое значение, поскольку, по его замыслу,

воплощенная в Бессарабии модель государственного устройства могла стать примером для жителей других балканских областей.

Т.А. Покивайлова (ИСл РАН) сосредоточила внимание на идеологии румынского царанизма в 1918–1920-х годах, сопоставив его с аграристскими течениями в других, в первую очередь балканских, странах. Специфика Румынии в сравнении с Болгарией заключалась в гораздо более высоком удельном весе крупного помещичьего хозяйства, и с этим фактом царанистам приходилось считаться. Их программа была в целом менее радикальна в сравнении с программой БЗНС в Болгарии, причем это касалось не только способов решения аграрного вопроса, но и политической сферы. Так, если лидеры БЗНС в начале 1920-х годов стояли на республиканских позициях, то царанисты считали возможным монархическое правление. Все-таки и программа царанистов в то время предполагала довольно радикальный передел крупной помещичьей собственности в пользу мелкого товаропроизводителя, развитие кооперации, демократизацию избирательного права, децентрализацию местного самоуправления и т.д.

Ни одна из крестьянских партий Юго-Восточной Европы не могла в своих программных заявлениях обойти вопрос об отношении к происходящему в России. Румынские царанисты даже в самый пик радикализации своих идейных установок российский опыт решительно отвергали. В одном из документов 1919 г. отмечалось, что “крестьянская партия может осуществить глубокие и серьезные реформы без потрясений и анархии”; мирный эволюционный путь общественного развития сознательно противопоставлялся революционному, который избрала соседняя Россия. Один из идеологов царанистской партии В. Маджару писал в той же связи, что пролетариат может выступить в качестве движущей силы поступательного движения в промышленно развитых странах, но не там, где крестьянство составляет основную массу населения и уже поэтому должно стать главной преобразовательной силой общества. Правда, исходя из российского опыта, он признал, что установление власти, действующей от имени пролетариата, возможно и в стране, где рабочий класс численно незначителен, если большинство населения аморфно и политически неустойчиво, как русское крестьянство. Урок, который преподнесли русские, согласно выводам Маджару, делает актуальным превращение крестьянства из инертной массы в организованную силу, которая в соответствии со своей численностью и значимостью выступит с требованием политической власти в государстве.

Румынский царанизм, в 1920-е годы отдававший дань идеям крестьянского государства и “третьего пути”, в дальнейшем отказывается от антикапиталистической фразеологии, эволюционирует к более умеренной и компромиссной социальной программе, хотя и сохраняет свою базу в крестьянской среде. Знаковой фигурой для этого этапа становится Ю. Маниу, во второй половине 1940-х годов отчаянно пытавшийся противостоять попыткам установления в Румынии сталинистской диктатуры, но устранный с политической арены.

Проблемы новейшей истории Румынии и ее историографии обсуждались во второй день двусторонней встречи. Член-корреспондент Румынской академии наук *Ф. Константиу* говорил об отражении румыно-русских и румыно-советских отношений в официозной историографии национал-коммунистического режима Чаушеску, который в целях своей легитимизации и завоевания поддержки населения все более активно эксплуатировал национальную традицию, в допустимой мере даже провозглашая себя выразителем национальных чувств тех, кто остался верен идеалам Великой Румынии в границах 1920 г. Названная тематика была подвержена особенно сильному давлению политической конъюнктуры, в зависимости от динамики которой история неоднократно переписывалась. Не в последнюю очередь это касалось истории коммунистического движения Румынии. Так, до середины 1960-х годов считалось, что румынская Компартия была основана 11 мая 1921 г., когда большинство делегатов съезда социалистов проголосовало за присоединение к Коминтерну. Апрельская декларация 1964 г. ознаменовала собой (еще при жизни Г. Георгиу-Де-

жа) полный и окончательный разрыв румынской партноменклатуры с просоветской политической ориентацией; отныне партийная элита открыто выступает за ограничение влияния “старшего брата”. В новых условиях историческая наука становится, с одной стороны, индикатором сиюминутного состояния отношений между двумя странами, а с другой – составной частью пропагандистского механизма, призванного внушить населению, что Румыния по-настоящему отдаляется от Москвы. В соответствии с новыми установками подчинение румынских коммунистов Коминтерну, повлекшее за собой вмешательство в деятельность партии извне, было резко осуждено, что заставило историков партии изменить дату ее основания. Вообще же после апреля 1964 г. радикально меняется взгляд на всю по меньшей мере трехвековую историю двусторонних отношений. Если до тех пор превозносилась роль России в освобождении Дунайских княжеств от турецкого владычества, много говорилось и писалось об освободительной миссии СССР в 1944 г., советском вкладе в построение социализма в Румынии, то теперь происходит заметное смещение акцентов. В результате пришлось переписывать многие разделы подготовленного к печати как раз к весне 1964 г. третьего тома “Истории Румынии” (1601–1848), радикально изменить концепцию следующих томов.

Пересмотру подлежали следующие эпизоды истории двусторонних отношений:

1. Аннексия Россией Бессарабии в 1812 г. Если ранее писалось об исторической необходимости воссоединения этого края с Россией, то теперь утверждалось, что присоединение Бессарабии к России было случайным следствием не только очередной русско-турецкой войны, но и определенного расклада сил на международной арене (ухудшение отношений между Наполеоном и Александром I). В подтверждение своей новой позиции официальная румынская историография охотно ссылалась на высказывания К.Маркса, заметившего в одной из работ, что, перейдя в 1812 г. к России, Бессарабия потеряла в статусе. Официальная позиция румынского руководства была выражена, в частности, во время визита Чаушеску в Молдавию в 1976 г., когда тот заверил Москву в том, что социалистическая Румыния не имеет территориальных претензий к СССР, однако историческая правда не должна искажаться. Эта позиция находила отражение в рецензиях на книги по истории Молдавии, изданные в СССР. В ряде работ 1980-х годов, санкционированных ЦК РКП, была осуждена политика царской администрации в Бессарабии, говорилось в положительном ключе о движении молдаван Бессарабии за политическую эмансипацию и объединение с Румынией.

2. Присоединение Бессарабии к Румынии в 1918 г. В работах 1970–1980-х годов оно расценивалось как прогрессивный исторический акт, не только отвечающий потребностям развития современной румынской нации, но и явившийся составной частью общеевропейского процесса национального самоопределения. Этот тезис, подкрепленный обилием цитат из работ В.И. Ленина о праве наций на самоопределение, был положительно воспринят румынским общественным мнением.

3. Советско-германский пакт 1939 г. Румыния была единственной страной Организации Варшавского договора, где еще в 1981 г. в университетском учебнике была опубликована статья секретного дополнительного протокола, в которой Германия признавала за СССР право на аннексию Бессарабии. Переводились также труды американских авторов, ссылавшихся на протокол. Характерно, что и в конце 1989 г., когда режим уже стоял на грани краха, Чаушеску использовал трибуну последнего, XIV съезда партии для того чтобы публично осудить пакт Молотова–Риббентропа. Это была отчаянная и уже явно запоздавшая попытка заручиться поддержкой хотя бы части народа перед лицом необратимых перемен.

4. “Восточная война” 1941–1944 гг. Из утверждения легитимности присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 г. и осуждения пакта Риббентропа–Молотова в части, касавшейся права СССР на Бессарабию, логически вытекало оправдание (хотя и не высказывавшееся в полный голос) военных действий Румынии против СССР, причем на территории не только до Днестра, но и за пределами прежней румыно-совет-

ской границы. Важной вехой в переоценке общественным сознанием (с разрешения официальной идеологии) этой войны явился роман М. Преды “Бред” (1975). Все-таки стремление избежать явного конфликта со “старшим братом” заставляло идеологов режима, как и историков, подходить к проблеме с предельной осторожностью.

Как заметил в связи с выступлением Ф. Константиину В.Н. Виноградов, режим Чаушеску был тоталитарным режимом чисто румынской конструкции, мало контролируемым Москвой. Чаушеску и его окружение проявили бы большее стремление к сближению с Западом, если бы обнаружили встречное желание.

Директор Института истории имени Н. Йорги *И. Скурту* сосредоточился на освещении румыно-русских и румыно-советских отношений в румынской историографии после революции 1989 г. Он констатировал, что в последнее десятилетие основное внимание историков новейшего времени было приковано к темам до сих пор недостаточно изученным (аннексия Румынией Бессарабии в 1918 г. и ее возвращение СССР в 1940 г.; оккупация Красной Армией Северной Буковины в 1940 г.; второй Венский арбитраж 1940 г. и позиция СССР в венгеро-румынском территориальном споре; “восточная война”; роль А.Я. Вышинского и других высокопоставленных советских эмиссаров, а также Союзной Контрольной Комиссии в установлении коммунистического режима в Румынии после Второй мировой войны). При этом наряду с серьезными профессиональными исследованиями появилось немало работ, отдающих дань сенсационности и плохо документированных.

В 1990-е годы вышло несколько томов документальных публикаций по истории внешней политики Румынии в межвоенный период, в годы Второй мировой войны и первые послевоенные годы, вплоть до Парижского мирного договора 1947 г., способных составить источниковую базу для дальнейших историко-дипломатических исследований. Среди этих публикаций – двухтомное издание документов по истории советско-румынских отношений, выполненное в сотрудничестве с Историко-документальным департаментом МИД РФ. Документы российских архивов использованы также в ряде больших публикаций по истории румынского коммунистического движения, о деятельности Коминтерна, а позже Коминформа, аппарат которого находился в 1948–1956 гг. в Бухаресте. Кроме того, опубликованы документы из британских и американских архивов, проливающие свет на позицию западных держав в отношении Румынии в 1938–1940 и 1944–1947 гг., в том числе на робкие, неудавшиеся попытки воспрепятствовать массивной советизации страны после прихода к власти весной 1945 г. прокоммунистического правительства П. Гроза. Один из первых обобщающих трудов по названной тематике, вышедших в последние годы, так и называется – “Румыния в политических играх сверхдержав”.

Солидный однотомник документов посвящен положению в Румынии (в том числе в Трансильвании) в дни венгерской революции 1956 г., репрессивной внутренней политике Г. Георгиу-Дежа, смертельно напуганного событиями в соседней стране. Публикуются также документы, полнее раскрывающие мотивы отказа Н. Чаушеску принять участие в военном вторжении стран Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 г. Издан том материалов о декабрьской революции 1989 г. и свержении режима Чаушеску, где среди прочего использованы донесения посольства Румынии в Москве, до некоторой степени проясняющие позицию М. Горбачева и советских верхов в отношении событий в союзнической стране, роль Кремля в приходе к власти руководства И. Илиеску.

Видное место в исторической литературе занимает мемуаристика, в том числе вышедшие ранее на Западе мемуары некоммунистических политиков как либеральной, так и правой ориентации. По свидетельским воспоминаниям удалось в целом восстановить ход переговоров о Соглашении по перемирию осенью 1944 г. Принципиально новым словом в мемуаристике стали опубликованные в нескольких томах воспоминания ветеранов войны, в частности участников “восточного похода”. Вышли также дневники короля Кароля и интервью с его преемником Михаем. В них содержится немало интересного материала, в том числе о реакции румынской эли-

ты на оккупацию Советским Союзом Бессарабии и Северной Буковины в 1940 г., об обстоятельствах вступления Румынии в войну против СССР. Мемуары деятелей Компартии проливают свет на встречи с советскими лидерами в 1960-е годы, когда все отчетливее стали намечаться расхождения в позициях двух партий по самым принципиальным вопросам (о причинах и способах преодоления советско-китайского конфликта, перспективах социалистической интеграции в рамках СЭВ, структуре и принципах функционирования Организации Варшавского договора).

И. Купер (Институт истории имени Н. Йорги) сделал сообщение об отражении современной румынской историографией становления коммунистического режима в Румынии.

К. Пона (Институт истории имени Н. Йорги) говорил об освещении истории Румынии в российской историографии постсоветского периода, особо подчеркнув появившуюся возможность обращения к архивам, изучения на их основе внешней политики СССР в Восточной Европе и внутренней эволюции стран региона. При этом он выделил ряд этапов в развитии постсоветской историографии. Сначала на волне отрицания коммунизма и советского наследия, по его мнению, доминировала односторонняя трактовка советской внешней политики, восходящей еще к Ленину, как агрессивной. Причем в духе консервативной американской историографии расширение советской сферы влияния после Второй мировой войны трактовалось как прямое следствие выбора, сделанного в 1917 г. Соответственно, коммунистические элиты стран Восточной Европы воспринимались лишь как проводники влияния Москвы. Позже сложился более сбалансированный взгляд на внешнюю политику СССР и роль Сталина. С ним были связаны попытки переосмыслить значение местных элит и традиций для эволюции восточноевропейских режимов. Однако это переосмысление в некоторой мере сопровождается возвращением к советскому философскому и методологическому наследию, обращением к устарелым понятиям, восполняющим отсутствие более современной терминологии.

Г.П. Мурашко и *А.Ф. Носкова* (ИСЛ РАН) выступили с сообщением “Становление политических режимов советского типа в Восточной Европе. Проблемы историографии последних лет: от марксистских догм к новым мифам”. Не подвергая сомнению значимость советского фактора для послевоенного развития стран Восточной Европы, они в то же время оспорили бытующий в ряде национальных историографий тезис об отсутствии собственной массовой социальной базы у коммунистической власти, которая якобы держалась в регионе исключительно на страхе и насилии. Другой характерной тенденцией историографии восточноевропейских стран (включая Румынию) стали попытки преувеличить общественное значение отдельных фактов сопротивления тоталитаризму. Появление в 1990-е годы названной тенденции было продиктовано потребностью посткоммунистической элиты обосновать свою укорененность в обществе. *Т.В. Волокитина* (ИСЛ РАН), опираясь на документы российских архивов, рассмотрела на конкретном румынском материале проблему смены элит с установлением в конце 1940-х годов коммунистических режимов в Восточной Европе. На волне репрессий и чисток сформировался слой выдвиженцев. Среди людей, поставленных на ответственную работу, было много маргиналов, психологически готовых лишь к роли исполнителей директив, исходивших сверху. Все это способствовало бюрократизации управления, утверждению номенклатурного принципа подбора кадров, заимствованного у СССР. Основные положения этих выступлений нашли отражение в книге “СССР и Восточная Европа. Становление режимов советского типа” (М., 2002. Отв. редактор А.Ф. Носкова).

К. Пона (Институт истории имени Н. Йорги), отметив высокий научный уровень работ этого авторского коллектива, в то же время предостерег от вульгарно-социологических трактовок зависимости идеологии от социального происхождения и социального положения, против которых, кстати, решительно выступает и вся история большевистской партии. Что касается Румынии, то многообразие политических течений среди румынской социал-демократии в 1940-е годы лишь самым опосредо-

ваным образом было связано с разнородностью социального состава партии. Вообще политические партии являются не только выразителями определенных социальных интересов, но в не меньшей мере продуктами политтехнологии. Так, румынской Компартии в 1945–1946 гг. удалось стать самой сильной партией в правящей коалиции в немалой мере благодаря использованию негласных членов. Например, среди 71 депутата парламента от Фронта земледельцев П.Грозы 60 были крипто-коммунистами. Затронув вопрос о социальной базе румынской Компартии, К. Попа согласился с тем, что среди маргинальной части пролетариата действительно существовали настроения в пользу уравниловки и этим воспользовались коммунисты. Однако этот факт плохо объясняет причины слабого влияния социал-демократов в массе рабочего класса. Приводимый в некоторых работах последних лет тезис о том, что возрастание влияния социал-демократических партий означает ослабление влияния компартий, представляет собой не более чем коминтерновский стереотип. Основная масса рабочего класса в Румынии вообще была в 1940-е годы политически пассивна.

К. Попа, по достоинству оценив труд Института международных экономических и политических исследований РАН “Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века” (М., 2000–2002), обратил в то же время внимание на его недостатки. По его мнению, приведенные авторами статистические данные не подтверждают заявленный тезис (не выходящий за рамки старой советской исследовательской парадигмы) о том, что Румыния к 1945 г. была отсталой аграрной страной. На самом деле даже в условиях диктатуры Антонеску в стране наблюдался серьезный подъем тяжелой промышленности, что вписывалось в планы Гитлера превратить Румынию в главный плацдарм своего влияния на Балканах. Таким образом, экономическое сотрудничество стран региона с нацистской Германией имело для них не только губительные последствия. К. Попа пытался доказать, что аграрный характер Румынии в сравнении с некоторыми другими восточноевропейскими странами усилился в 1950-е годы, что вызвало недовольство национальной коммунистической элиты экономическим положением страны в системе социализма, привело к конфликтам с советским руководством, предопределило в 1960-е годы курс на автаркию.

Как полагает К. Попа, присутствие в книге политически окрашенных терминов и даже расхожих штампов советской историографии (“буржуазно-помещичьи режимы”, “революционные преобразования” применительно к индустриализации и коллективизации сталинского типа) восполняет отсутствие современного концептуального багажа, отражает устойчивость старых стереотипов.

Зам. директора Института российской истории РАН А.К. Соколов говорил о значении советского опыта для современной истории России, отметив дорогую цену модернизации советского общества в 1920–1930-е годы. Однако если Восточной Европе социализм был навязан, то в России он стал сознательным выбором большинства населения страны. Социалистический эксперимент в СССР в конечном итоге потерпел неудачу в результате неверной оценки сути происходивших событий, противоречия между реальными тенденциями в советском обществе и официальными представлениями.

В марте 2002 г. в рамках работы российско-румынской комиссии историков состоялся “круглый стол”, посвященный 120-летию со дня рождения одного из первопродумавших идеи коллективной безопасности в Европе, выдающегося румынского политика и дипломата Николае Титулеску (1882–1941). Он был организован при участии Историко-документального департамента МИД РФ и посольства Румынии в России, в числе докладчиков были директор Института славяноведения РАН член-корреспондент РАН В.К. Волков, советник посольства Румынии В. Вэратик и др. В центре внимания находилась деятельность Титулеску на посту министра иностранных дел Румынии в 1932–1936 гг., его активное участие в попытках создания системы коллективной безопасности в Европе. Министром малой страны, делавшим большую европейскую политику, назвал Титулеску крупный французский политический деятель Э. Эррио.

По мере того, как к началу 1930-х годов, отмечали докладчики, все отчетливее намечался кризис Версальской системы, возникала необходимость ее модификации, создания новых союзов взамен не выдержавших испытания временем, поиска новых форм обеспечения безопасности на континенте. Известный своей приверженностью идее “малых союзов” под эгидой Франции (Малая Антанта и т.д.), Титулеску в то же время постоянно подчеркивал, что хотя Румыния в первую очередь является союзницей Франции, первостепенную роль для гарантированной безопасности страны играют хорошие отношения с ее восточным соседом – СССР. Будучи романтиком в некоторых своих планах переустройства Версальской системы, Титулеску оставался жестким прагматиком и реалистом в отношениях с СССР. Исходя из принципа “соседей не выбирают”, он, по словам премьер-министра Югославии М. Стоядиновича, поставил главной задачей своей деятельности сближение с Советами, поскольку дружба с ними дала бы возможность избежать опасности вражды с их стороны. В июне 1934 г. были установлены дипломатические отношения между двумя странами, в последующие месяцы активизировались торговые, культурные связи. В том же году Титулеску был в числе тех европейских политиков, кто активно поддержал вступление СССР в Лигу Наций. В 1935 г. возникла идея советско-румынского пакта, который Титулеску хотел сделать новым звеном уже складывавшейся договорной системы между СССР, Францией и Чехословакией.

Самым серьезным препятствием в деле налаживания румыно-советского диалога являлось отсутствие взаимопонимания в вопросе о Бессарабии, однако Титулеску удалось оставить эту проблему за рамками переговоров с Москвой. Его усилия встречали открытую враждебность в Берлине, не находили понимания в Бухаресте, где некоторые политические круги необоснованно пытались обвинять министра в заговоре с СССР за счет уступки Бессарабии. В Москве его инициативы также временами встречали холодную отчужденность, там считали, что “сколько бы Титулеску ни крутил”, он хочет добиться формального признания права Румынии на Бессарабию. Нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов в наставлениях советскому полпреду в Бухаресте в 1935 г. подчеркивал, что “не мы предлагаем Румынии пакт, а наоборот, и что поэтому не ей нам ставить ультимативные условия”. Вместе с тем Литвинов отдавал себе отчет в том, что для укрепления положения СССР на европейской арене имеет не последнее значение союз с соседним 20-миллионным государством. Министрам хватило мудрости достигнуть обоюдного согласия вообще не касаться вопроса о Бессарабии, дабы не поставить под угрозу важный переговорный процесс. В одной из конфиденциальных бесед Литвинов, по словам Титулеску, заявил: “подписывая соглашение с Вами, я подарил Вам Бессарабию. Если я не могу признать это официально, то только из-за трудностей, которые будут у меня с нашим общественным мнением... Я ответил Литвинову, – продолжал Титулеску, – что Бессарабия подарена нам Богом, а не им. И мы согласились потом оба, что самое лучшее – не говорить совсем о Бессарабии”.

Преодолев ожесточенное сопротивление прогермански настроенной части румынской политической элиты и гибко обойдя проблему существовавшего румыно-польского союза, Титулеску добился от своего правительства и парламента мандата на заключение пакта с СССР без предварительных условий и в июле 1936 г. мог прямо заверить Литвинова в том, что вопрос о Бессарабии не будет больше служить препятствием к подписанию договора. Апеллируя к румынскому общественному мнению, он мотивировал свою позицию тем, что в условиях нарастания германской опасности Румыния должна урегулировать отношения с СССР. Пакту, однако, не суждено было быть заключенным из-за вынужденной отставки Титулеску в августе того же года. Отставка Титулеску означала победу сил прогерманской ориентации и начало поворота во внешней политике Румынии. Антисоветская позиция румынского правительства, проявившаяся в период англо-франко-советских переговоров лета 1939 г., несла в себе определенную, хотя и далеко не решающую долю вины за срыв усилий по созданию единого фронта борьбы с фашистским блоком. В своей записке

королю находившийся не у дел Титулеску указал на недалновидность политики, сделавшей возможной германо-советскую договоренность за счет не только Польши, но отчасти и Румынии. Прямым следствием этой политики стала утрата Румынией территориальной целостности летом 1940 г. и последующее еще более плотное “пристегивание” к “третьему рейху”, приведшее режим Антонеску к катастрофе.

В сообщении *М.Д. Ерещенко* (ИСл РАН) речь шла о вкладе Титулеску в международно-правовую науку (определение агрессии, выработанное им совместно с М.М. Литвиновым в рамках Лиги Наций, вошло в учебники по международному праву). *Т.А. Покивайловой* (ИСл РАН) были приведены документы из бывшего Особого архива, свидетельствовавшие о слежке румынских спецслужб за Титулеску во время его пребывания за рубежом после отставки.

В планы новых встреч российских и румынских историков включено обсуждение ранее мало исследованных проблем. Одна из них – роль нефти в истории обеих стран.



© 2003 г. А. А. ПЛОТНИКОВА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКА В БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЕ, ХОРВАТИИ, СЕРБИИ И ЧЕРНОГОРИИ

27–28 сентября 2002 г. в Вене (Австрия) состоялась конференция “Aktuelna pitanja jezika Bošnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca”, посвященная актуальным вопросам бывшего сербскохорватского (сербохорватского) / хорваткосербского языка – стандартного, или литературного, языка жителей Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии и Черногории. Если до разъединения Югославии на отдельные государства (1990–1993) сербскохорватский / хорваткосербский язык функционировал в двух вариантах – сербском (с экавским и екавским произношением рефлексов ё) и хорватском (с екавским произношением), то в настоящее время на территории бывшей Югославии, помимо словенского и македонского языков, существуют еще как минимум три языка – хорватский стандартный (литературный) язык, сербский стандартный (литературный) язык и “боснийский”¹ стандартный язык, который находится в стадии становления, сопровождаемого традиционными проблемами, характерными для этого этапа развития литературного языка. Кроме того, нередко говорится и о том, что “черногорскому языку” следует дать статус стандартного языка, опираясь, например, на работы по грамматике и орфографии черногорского языка В. Никчевича (подробнее см.: [1]).

Поскольку не существует единого мнения среди ученых-славистов (особенно – среди сербокроатистов, работающих в лингвистических центрах на территории бывшей Югославии) по многим вопросам, связанным с бывшим сербскохорватским / хорваткосербским языком, то одним из способов договора или, по крайней мере, обмена мнениями по данной теме становится организация конференций, на которые приглашаются все заинтересованные стороны. Проведение такой конференции на территории вне бывшей Югославии, а именно в одном из центров славистики (и прежде всего – сербокроатистики) – в Вене, где традиция такого рода приводила к поистине масштабным договорам (*Бечки договор* – “Венский договор” 1850 г. стал точкой отсчета общего сербскохорватского / хорваткосербского языка), можно

Плотникова Анна Аркадьевна – канд. филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

¹ Называемый на конференции и *bosanski* “боснийский”, и *bošnjački*, т.е. язык боснийских мусульман (“бошняков”), в соответствии с той или иной позицией выступающего в отношении наименования этого нового стандартного языка. Уточнение *bošnjački*, как правило, давалось вторым атрибутом к *bosanski* в докладах тех лингвистов из Хорватии и Сербии, которые полагают, что название *bosanski* не отражает характеристики языка проживающих на территории Боснии и Герцеговины хорватов и сербов.

признать оригинальным и своевременным решением в рамках сохраняющейся традиции².

Организатор конференции академик Г. Невекловский, блестящий знаток языковой ситуации на территории бывшей Югославии [1], собрал в Вене известных лингвистов из Хорватии (акад. Д. Брозович, проф. И. Пранькович, д-р Д. Брозович-Рончевич), Боснии и Герцеговины (проф. М. Шипка, проф. Н. Валевац, проф. Х. Вайзович), Сербии (акад. И. Клайн, проф. Б. Брборич, проф. Л. Попович, проф. М. Радованович), Черногории³, а также славистов из Австрии (акад. Р. Катичич, д-р Я. Каппел, д-р З. Кинда-Берлакович), Германии (проф. В. Лефельдт, проф. Б. Кюнцман-Мюллер, проф. Р. Дурич), Норвегии (проф. С. Мённесланд), Швеции (акад. С. Густавссон), Америки (проф. В. Браун), России (канд. филол. наук А. Плотникова). Заседания проходили в концертном зале Австрийской академии наук и в Институте славистики Университета в Вене.

Открыл конференцию академик Р. Катичич, который от имени Австрийской академии наук приветствовал собравшихся, напомнив участникам о работе в Вене и заслугах перед славистикой таких выдающихся ученых, как Ф. Миклошич, В. Ягич. На открытии конференции выступили также вице-ректор Университета по учебным программам и международным связям проф. А. Меттингер и директор Института славистики проф. Ю. Бестерс-Дильгер, пожелавшие участникам успешной работы и плодотворного обмена мнениями по вопросам новых стандартных языков на территории бывшего сербскохорватского / хорваткосербского языка. В конце первого дня работы конференции участников приветствовал также декан гуманитарно-го факультета Университета в Вене проф. Франц Ремер.

Первый, обзорный, доклад на конференции сделал Г. Невекловский (Вена) на тему “О современных южнославянских языках”, кратко обрисовав историю формирования литературных языков, их отношение к диалектной базе, вопрос вариантов бывшего сербскохорватского / хорваткосербского языка (помимо признания в 1950–1960-х годах хорватского и сербского территориальных вариантов языка жители Боснии и Герцеговины настаивали на равноправии “боснийского” варианта), а также проблемы орфографии, орфоэпии новых языков, в частности, решений по поводу принятия “экавского” и / или “екавского” произношения ё в качестве нормы литературного языка. Докладчик особо остановился на процессах становления новых стандартных языков на территории бывшего сербскохорватского / хорваткосербского языка или, в современной терминологии (по предложению Д. Брозовича), “среднеюжнославянского” – хорватского, сербского, боснийского: “хорватизация” хорватского языка (реактивизация старых слов, привлечение диалектизм, устранение “чужих” слов), продолжение традиции в сербском языке (от эпохи Д. Обрадовича и В. Караджича), умеренная культивация турцизм в боснийском языке и возвращение к первоначальному произношению и написанию слов типа *аждаха* (с х, а не j или как-либо иначе). Формирование нового литературного черногорского языка на сегодняшний день остается лишь тенденцией, поскольку сербский стандарт-

² Отметим, что первая конференция по вопросам стандартных языков на территории сербскохорватского / хорваткосербского диалектного континуума “Язык и демократизация” была проведена в 2001 г. в Неуме (Босния и Герцеговина) при финансовой поддержке Норвегии. Как отмечалось на конференции в Вене, “венская конференция показала, что теперь существует гораздо больше понимания между учеными-лингвистами из стран бывшей Югославии, чем было ранее в Неуме”.

³ Приглашенный в качестве представителя из Черногории проф. Б. Остоич (г. Никшич) не смог приехать на конференцию, но прислал свой доклад. Из-за неблагоприятных обстоятельств в дороге в Вену также не приехал и проф. С. Реметич из Белграда, доклад которого (“Путь к стандартному языку у сербов и хорватов: общее и различное”) был прочитан на конференции.

ный язык по-прежнему является официальным языком Черногории. В докладе были также обозначены этапы развития словенского, македонского и болгарского литературных языков.

Д. Брозович (Загреб) выступил с докладом “Генетическо-лингвистические и социолингвистические критерии в систематизации южнославянских идиомов (с особым вниманием к Боснии и Герцеговине)”, в котором с помощью терминов “диасистема”, “идиом” изложил свое видение языковой ситуации в рамках южнославянского диалектного континуума. В соответствии с генетическо-лингвистическим критерием, стандартный язык есть лишь абстракция определенного набора изоглосс, а конкретным является только местный говор. В социолингвистическом смысле конкретным представляется стандартный язык – абстракция своих вариантов. Рассматривая далее “диасистемы”, имеющие статус языка, докладчик предложил деление южнославянских языков на западную и восточную подгруппы: к восточной относятся болгарский и македонский языки; к западной – словенский и “среднеюжнославянский” (в генетическо-лингвистическом плане), или “стандартный новоштокавский” (в социолингвистическом аспекте), т.е. бывший сербскохорватский или хорватскосербский. В рамках этого языка, по мысли докладчика, существуют три диасистемы со статусом языка: хорватский, сербский и “бошняцкий”. Д. Брозович отметил, что на практике в языке боснийских мусульман царствует неопределенность, прежде всего – в правописании, лексике. Лингвисты Боснии и Герцеговины хотят называть этот язык “боснийским”, что было бы логично наряду с “сербским” и “хорватским”, однако в данном случае существует и обратная сторона медали: проживающих в Боснии и Герцеговине хорватов и сербов нельзя отнести к носителям языка боснийских мусульман (“бошняков”).

М. Шипка (Сараево) в докладе “Язык “бошняков”, черногорцев, хорватов и сербов” обрисовал общественно-политическую и историческую ситуацию, повлиявшую на процессы формирования новых стандартных языков и изменения в прежних наименованиях существующих диасистем. Различия между ранними (до 1990 г.) и современными подходами к классификации и номинации языковых идиомов в сербскохорватском речевом пространстве докладчик проиллюстрировал на примере анализа трех работ выдающихся лингвистов – Д. Брозовича и П. Ивича: с одной стороны, это статья “Язык, сербскохорватский, хорватскосербский, хорватский или сербский” обоих авторов, опубликованная в 1988 г. как отдельный оттиск из второго издания “Энциклопедии Югославии” [2], и, с другой стороны, две отдельные поздние статьи – Д. Брозовича “Лингвистические термины на среднеюжнославянской территории” [3] и П. Ивича “Сербские диалекты и их классификация” [4]. Далее докладчик высказал ряд аргументов “за” и “против” относительно новых лингвистических терминов для обозначения бывшего сербскохорватского языка (“среднеюжнославянский”, “стандартный новоштокавский”, язык боснийских мусульман, хорватов, сербов и черногорцев⁴ и др.). Сам М. Шипка считает наиболее целесообразным, по крайней мере в академической сфере, употребление “старого” термина “сербскохорватский” как означающего совокупность языковых идиомов “бошняков”, хорватов и сербов с черногорцами (откуда происходит и термин “сербокроатистика” – научная дисциплина, занимающаяся всеми проблемами в пространстве самого большого южнославянского языка). В этом случае “югославистика / южнославистика” подразделялась бы на словенистику, сербокроатистику, македонистику и болгаристику, а в рамках сербокроатистики – на “сербистику”, “кроатистику” и “бошнякистику”.

⁴ И в данном случае, по мнению М. Шипки, встает дилемма: в каком порядке следует перечислять национальности соответствующих носителей языка (по числу носителей, по алфавитному порядку, кириллическому или на латинице и т.д., вплоть до сокращения BCS – *bu-cu-ec*, принятого для обозначения языка *Bosnian – Croatian – Serbian* в Гааге).

Я. Канпел (Вена) в докладе «Боснийский или “бошняцкий”?» продолжила дискуссию о названии нового, формирующегося литературного языка боснийских мусульман (“бошняков”), уточнив, что в 1991 г. боснийские мусульмане приняли решение называть свой язык “боснийским”, а в 1996 г. снова официально подтвердили свое решение. Однако нельзя не учитывать, что в сложившейся социально-политической обстановке “боснийцы” – это и мусульмане, и хорваты, проживающие в рамках конфедерации (в отличие от сербов Сербской республики, где функционирует сербский язык).

Два доклада – *И. Праньковича* (Загреб) “Вокруг “Грамматики боснийского языка”» и *В. Лефельдта* (Геттинген) “О состоянии кодификации боснийского языка” – были посвящены актуальным вопросам становления боснийского стандартного языка. *И. Пранькович* проанализировал “Грамматику боснийского языка” Дж. Яхича, С. Халиловича и И. Палича [5], отметив, что наиболее основательно и серьезно обработана синтаксическая часть монографии, особенно описание “категориального аппарата”, высказав ряд частных замечаний общего характера относительно определения существительных общего рода, семантики грамматических категорий и др. *В. Лефельдт* остановился также на недостатках учебника для гимназии “Грамматика боснийского языка” Х. Вайзович и Х. Зврко [6], и присутствовавшая на конференции Х. Вайзович, один из авторов “Грамматики”, в дискуссии была вынуждена взять слово, чтобы описать участникам конференции экстраординарные обстоятельства создания этого учебника⁵.

Н. Валевац (Сараево) в докладе “Боснийский стандартный язык и его просодическая норма” показала разнообразие просодических диалектных систем на территории Боснии и Герцеговины, оперируя также и картами акцентологических особенностей произношения в данном диалектном пространстве. Однако доклад, пожалуй, стал доказательством отсутствия “просодической нормы” в боснийском стандартном языке, поскольку из всего разнообразия диалектных вариантов произношения типа *đbhi* и *đb̄hi*, по всей видимости, до сих пор еще не выбрана та, которой следует придерживаться желающему, например, изучить “боснийский стандартный язык”. Вместе с тем убедительно было показано, что существует набор классификационных просодических признаков, по которым можно отличить носителя “боснийского” языка, т.е. уроженца того или иного места в Боснии и Герцеговине, что, собственно, и было аргументом в пользу “существующей изначально” просодической нормы боснийского языка.

Х. Вайзович (Сараево) сделала доклад на актуальную для формирующегося нового боснийского языка тему “Отношение современной боснийской, хорватской и сербской стандартноязыковой нормы к словам ориентального происхождения”. Под термином “ориентализмы” в стандартном боснийском и других рассматриваемых языках понимаются слова турецкого происхождения, как собственно турцизмы, так и слова персидского и других восточных языков, пришедшие в язык боснийских мусульман, хорватов, сербов и черногорцев через посредство турецкого языка. Естественно, что наибольшее количество таких заимствований характерно для языка боснийских мусульман, поэтому на этапе формирования стандартного боснийского языка именно этот признак местных говоров играет важную роль в создании стандартного лексикона, однако как раз в этом направлении трудно избежать “перегибов”, вплоть до введения “ориентализмов” в медицинскую терминологию, о чем

⁵ Х. Вайзович пояснила, что в разгар военных действий на территории Боснии и Герцеговины она и ее коллеги получили задание от боснийского правительства написать грамматику нового боснийского языка, что осуществлялось буквально в условиях бомбежки и отсутствия каких-либо необходимых подручных лингвистических материалов; к сожалению, впоследствии, несмотря на протесты авторов по поводу переиздания учебника в первоначальном виде, это пособие стало одним из средств кодификации боснийского языка.

говорила докладчица. Анализу “Школьного словаря боснийского языка” Дж. Яхича [7] посвятил свой доклад Р. Дурич (Бохум), оспаривая право словаря называться “школьным” по нескольким причинам: 70% заглавных слов словаря относятся к “ориентализмам”; словарь не смог стать “надрегиональным”, поскольку отражает лишь лексику восточной Боснии (откуда родом автор словаря)⁶; автор стремился внести в словарь только те лексемы, которые отличаются от сербских и хорватских; многие слова вообще неизвестны носителям боснийского языка, поэтому их не следует изучать в школе, и т.д.

Заключительное выступление первого дня заседания – доклад Д. Брозович-Рончевич (Загреб) назывался “Ойконимические переименования на территории бывшей Югославии после 1990 года” и был посвящен микротопонимам, как-либо измененным в связи с новыми общественно-политическими реалиями. Докладчица отметила, что наименьшее число изменений “по неизвестным причинам”⁷ произошло на территории Сербии, однако очень много таковых зафиксировано в Хорватии и БиХ (Боснии и Герцеговине). Все представленные в докладе переименования были поделены на несколько групп в соответствии с характерными для ойконимов процессами: устранение имен, введенных после 1945 г. (типа *Titograd* > *Podgorica* в Черногории, *Titovo Užice* > *Užice* в Сербии), в том числе повторное введение определения со значением “святой” (типа *Sveta Jelena* > *Jelena* > *Sveta Jelena* в Хорватии); устранение дифференциальных территориальных атрибутов (типа *Požega* > *Slavonska Požega* > *Požega* в Хорватии); введение новых наименований с национальными характеристиками (типа *Bosanski Brod* > *Srpski Brod* в Сербской республике в БиХ), включая ориентацию на фонетические и словообразовательные признаки новых стандартных языков (например, *Orahovac* > *Oraovac* в Сербии, Приеполе⁸; *Leskovec* > *Leskovac* в Косово, Призрен).

Доклады на тему о новых стандартных языках на территории бывшего сербскохорватского / хорваткосербского языка продолжились на следующий день выступлением Б. Брборича (Белград), который прочитал доклад “Стандартный язык и языковой стандарт”, обратившись к важным для истории формирования стандартных языков датам и событиям. Б. Брборич еще раз подчеркнул, что определяющими наименованиями самих новых стандартных языков являются те из них, которые выдвигаются лингвистами – представителями того или иного нового стандартного языка, хотя обозначения этих новых языков “извне” даются в соответствии с нормами других языков, имея в виду полемику по поводу названий “боснийский” и “бошняцкий”. Процессу становления сербского и хорватского языков посвятил свое выступление Л. Попович (Белград) “От сербскохорватского до сербского и хорватского стандартных языков: сербская и хорватская версии”. Докладчик обратил внимание присутствующих на очевидные различия в интерпретации явлений, оставшихся на самом деле неизменными: существует единственный “узус” в рамках сербскохорватского / хорваткосербского языка, а все другие обстоятельства касаются лингвистических подходов, языковой политики и идеологии. Новой, по мнению докладчика, можно назвать лишь методологию исследований, а именно восприятие лишь “своего” корпуса текстов со стороны лингвистов – представителей соответствующих дисциплин, изучающих боснийский, хорватский, сербский стандартные языки. Как следствие такого подхода появляется разобщенность исследований, отсутст-

⁶ Сам докладчик – бывший житель западной Боснии, из Бая Луки.

⁷ Причины представляются очевидными: сербский стандартный язык в наименьшей мере оказался подверженным каким-либо изменениям в целом, сохраняя традицию и преемственность языковых ценностей от Вука Караджича, что, естественно, касается и категории микротопонимии.

⁸ Ср. стремление сохранить этимологический *x* в формирующемся на соседней территории новом стандартном боснийском языке.

вие знаний новой литературы (и даже доступа к ней), поэтому практическое предложение докладчика заключалось в том, чтобы создать возможности для изучения корпуса текстов всех формирующихся стандартных языков, а также для взаимного обмена новыми научными поступлениями.

М. Радованович (Нови Сад) в докладе “Сербский язык в начале миллениума: инвентарь внешних и внутренних вопросов” сделал попытку обобщения собственных предположений и теоретических построений, высказанных за последние четверть века относительно развития и структуры сербского (стандартного) языка, опираясь прежде всего, на работу над международным научным проектом в Ополе (Польша), посвященном изменениям в славянских языках в 1945–1995 гг.⁹ В докладе были затронуты такие вопросы, как “расслоение” и структура (грамматическая и лексическая) сербского языка, его статус и корпус, “балканизация” и “европеизация”. *И. Клайн* в докладе “Нормативная лингвистика в Сербии сегодня” ознакомил присутствующих с проблемами в области нормативной лингвистики в современной Сербии. Созданный по инициативе П. Ивича в конце 1997 г. Комитет по стандартизации сербского языка (подразделяющийся на девять комиссий в соответствии с разными сферами языка) является совещательным органом, действует без принуждения, поскольку задача Комитета – дать ответы на постоянно возникающие вопросы, связанные с языковой нормой. Докладчик дал также беглый обзор типичных ошибок и отступлений от нормы в сербском языке – словообразовательных, синтаксических, семантических и др.

Доклад *А. Плотниковой* (Москва) “Восточносербский диалект в отношении к стандартному сербскому языку” затронул социолингвистические аспекты тимокского говора сербского языка. На живых примерах из полевой работы над “Малым диалектологическим атласом балканских языков” [9] было показано, что носители тимокско-заглавакского говора в разных коммуникативных ситуациях употребляют два языковых идиома: стандартный сербский язык и диалект, причем к своему диалекту относятся как к “особому” языку, отличному и от сербского, и от болгарского языков, называя его “торлакским”. Было также отмечено, что информанты называют “своими” лишь особенности стандартного сербского языка, тогда как структурно-типологические признаки, общие с болгарским языком, считают “чужими”, не свойственными их родному говору. Другой, достаточно обособленный говор – градишчанско-хорватский – был предметом анализа в докладе *З. Кинда-Берлакович* (Вена) “Градишчанско-хорватский в отношении к хорватскому стандарту”. Исследовательница рассмотрела развитие регионального литературного языка градишчанских хорватов, начиная с XVI в., отметив влияние кайкавского литературного языка в XVII–XVIII вв, обогащение градишчанско-хорватской лексической базы в XIX в., языковые реформы в XX в. (1929 и 1950 гг.) в направлении сближения с хорватскими нормами языка, языковые контакты с немецким и венгерским языками, важные тенденции в языковом развитии за последние двадцать лет, означающие, по мнению *З. Кинда-Берлакович*, начало стандартизации языка градишчанских хорватов, проживающих на территории Австрии.

Доклад *С. Мённесланда* (Осло) «О понятии “диасистемы”» был посвящен анализу употребления термина *dijasistem*, который был введен в научный оборот в известной книге Д. Брозовича 1970 г. “Стандартный язык”, а в настоящее время в хорватской и боснийской грамматиках употребляется для обозначения языка на территории от Словении на севере до Болгарии и Македонии на юге (*srednjojužnoslavenski dijasistem*). В этом плане понятие “диасистемы” становится доказательством существования единого славянского языка, по-разному называемого, но представляющего со-

⁹ Результаты работы над проектом представлены в серии книг, посвященных отдельным литературным языкам, в том числе в сборнике под редакцией М. Радовановича “Сербский язык” [8].

бой единое целое. Далее докладчик рассмотрел применение возможных критериев, в соответствии с которыми хорватский, боснийский и сербский могут считаться единым языком: фактор генетической близости (неприменимый в данном случае, поскольку «нелегко доказать, что все диалекты “среднеюжнославянской диасистемы” генетически больше связаны друг с другом, нежели с соседними языками») и критерий “взаимного понимания” (который также не выдерживает критики из-за существенных диалектных расхождений в крайних точках бывшего сербскохорватского языка). В качестве наиболее приемлемого докладчик считает социолингвистический критерий, ориентированный на ощущение идентитета с определенным стандартным языком у носителя говора. Так как для описания языковой ситуации на среднеюжнославянской территории понятие “диасистемы” является неясным (а потому и ненужным), С. Мённесланд предложил ввести термин “социолингвистический комплекс”: говоры Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии и Черногории относятся к “среднеюжнославянскому социолингвистическому комплексу”, в рамках которого существует несколько стандартных языков. Несмотря на то что некоторые говоры генетически или типологически ближе другим стандартным языкам (вне “комплекса”), боснийско-хорватско-сербский социолингвистический комплекс является реальностью.

С. Густавссон (Упсала) в докладе “Норма или нормы – несколько замечаний относительно трех центрально-южнославянских грамматик” рассмотрел грамматические особенности формирующихся боснийского (“бошняцкого”), сербского и хорватского стандартных языков на примерах из “Грамматики сербского языка” [10], “Хорватской грамматики” [11] и “Грамматики боснийского языка” [5]. Все три нормы, по мнению докладчика, показывают явные расхождения, но эти различия существенны только для символической, а не для коммуникативной функции языка. В. Браун (Итака) свой доклад “Различия в порядке слов в сложноподчиненном предложении: контактное и дисконтактное положение союза da^2 и глагола” посвятил сравнительному анализу нескольких версий перевода книги Антуана де Сент-Экзюпери “Маленький принц” (трех загребских, двух белградских, одного сараевского и одного боснийского, тузлинского, изданий). Докладчик убедительно показал, что различия в порядке слов в зависимом предложении с союзом da^2 + present (там, где в других языках употребляются неиндикативные глагольные формы) вписываются в общую диалектологическую карту южнославянских языков. Так, в восточных южнославянских языках (болгарском и македонском) союзу da^2 соответствует неделимая структура да + проклитики + глагол. Б. Кюнцманн-Мюллер (Берлин) в докладе “Новые стандартные языки в Юго-Восточной Европе и языковая типология” провела сопоставление хорватских, сербских и болгарских синтаксических конструкций (безличных и неопределенно-личных) и морфологических связей числительных 2, 3, 4 с именами существительными, показав параллельное употребление типологически разных конструкций в сербском и хорватском стандартных языках.

С заключительным докладом “После 1900 года: перелом и продолжение в стандарте и литературно-языковом употреблении южнославянского (языка), нормированного в отношении к новоштокавскому диалектному” выступил Р. Катичич (Вена), подводя итоги выступлениям и состоявшимся острым дискуссиям по вопросам новых стандартных южнославянских языков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Невекловский Г. Языковое состояние на территории распространения бывшего сербскохорватского языка // Славяноведение. № 1. 2001.
2. Brozović D., Ivic P. Jezik, hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. Zagreb, 1988.
3. Brozović D. Lingvistički nazivi na srednjojužnoslovenskom području // Jezik i demokratizacija. Sarajevo, 2001. Knj. 12.
4. Ивић П. Српски дијалекти и њихова класификација // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. Нови Сад, 1998. XLI/2.

5. *Jahić Dž., Halilović S., Palić I.* Gramatika bosanskoga jezika. Zenica, 2000.
6. *Vajzović H., Zvrko H.* Gramatika bosanskog jezika. I–IV. Razred gimnazije. Sarajevo, 1994.
7. *Jahić Dž.* Školski rječnik bosanskog jezika. Sarajevo, 1999.
8. Српски језик / Red. M. Radovanović. Opole, 1996.
9. *Домосилецкая М.В., Плотникова А.А., Соболев А.Н.* Малый диалектологический атлас балканских языков // Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов. Краков, 1998 г. Доклады российской делегации. М., 1998.
10. *Станојчић Ж., Поповић Љ.* Граматика српскога језика. Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе. Београд, 1995.
11. *Barić E. et al.* Hrvatska gramatika. Zagreb, 1997.



А.Ю. БАХТУРИНА. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. М., 2000. 264 с.

История Первой мировой войны на протяжении многих лет привлекает внимание исследователей. В последние десятилетия интерес к этой теме значительно возрос, однако остаются еще не изученными или изученными недостаточно ее многие аспекты. Один из них – политика российских властей на оккупированных в первые месяцы войны территориях, прежде всего, в Восточной Галиции. Рецензируемая монография А.Ю. Бахтурина призвана восполнить этот пробел.

Перед ученым, поставившим перед собой задачу изучения политики Российской империи в Восточной Галиции в период Первой мировой войны, возникают следующие вопросы: в какой мере указанная политика была продуманной и эффективной? какими принципами руководствовались российские командиры, вырабатывая ее?; в какой мере специфика самого региона повлияла и на подход российских верхов к галицийской политике, и на методы ее проведения?

В монографии А.Ю. Бахтуриной центральное место логично отведено политике российских властей на оккупированных в ходе боевых действий летом–осенью 1914 г. землях Австро-Венгрии. При этом автор выделяет два направления в этой политике: формирование на занятых территориях гражданского управления и его деятельность; конфессиональная политика в Восточной Галиции в годы войны.

Подчеркивая, что изложение материала по истории политики Российской империи в регионе требует обширных предварительных пояснений (С. 17), автор первую часть книги посвящает исследованию довоенного положения в Галиции, позиции российского МИД в отношении местной ситуации, поло-

жению пророссийских организаций в Галиции. Эта часть монографии является своего рода “вспомогательной” и позволяет читателю сориентироваться в сложном сплетении национальных, политических и государственных интересов различных групп населения этого региона.

При исследовании российской политики в Галиции непосредственно в период занятия ее российскими войсками А.Ю. Бахтурина детально восстанавливает историческую последовательность событий. Она подчеркивает, что своеобразие российской политики заключалось в том, что на территории, где еще совсем недавно шли бои, организовывалось не только военное, но и гражданское правление. Официально это делалось, по словам министра иностранных дел С.Д. Сазонова, “ввиду тех ожиданий, которыми сопровождается в местном населении вступление наших войск в славянские земли” (С. 75). Автор, приводя эти слова министра, отмечает, что он заметно лукавил, и подлинной причиной подобной поспешности было стремление к максимальному слиянию Галиции с Российской империей до окончания войны, т.е. до того, как встанет вопрос о проведении новых границ. Важно подчеркнуть, что до начала войны в российских верхах не существовало единой, целостной политики государства на тех землях, которые могли бы быть присоединены к Российской империи.

Основное внимание А.Ю. Бахтурина сосредоточила на изучении политики российских властей на тех австрийских территориях, которые были оккупированы Россией в первые месяцы мировой войны. Конкретно речь идет о Восточной Галиции, той части Австро-Венгерской монархии, которая еще

до войны рассматривалась в определенных кругах как "исконная русская земля" и к освобождению которой призывала официальная пропаганда.

Автор монографии подробно излагает историю создания Галицкого временного военного генерал-губернаторства, работе его главы Г.А. Бобринского, активной роли в проведении российской политики его родственника и руководителя "Галицко-Русского общества" В.А. Бобринского, позиции активистов русофильского движения. Как следует из книги, деятельность российской гражданской администрации имела несколько основных направлений – это организация системы управления краем, максимально приближенной к российской; школьная и судебная политика; налаживание экономики на разоренных войной землях. Большой интерес представляет проблема взаимоотношений между гражданскими и военными оккупационными властями, которые были весьма непростыми.

Особое место в работе отводится вопросу конфессиональной политики российских властей в Галиции. В определенной мере именно он занимает центральное место в исследовании, затмевая вопросы гражданского управления. Возможно, это объясняется не только сложностью и противоречивостью отношений между Русской православной и греко-католической церквями, на протяжении столетий борющимися за пасту как в Галиции, так и во всем регионе бывших восточных владений Речи Посполитой, но и масштабностью основных участников этой борьбы: православных иерархов архиепископа Евлогия и митрополита Антония (Храповицкого) и униатского митрополита Андрея Шептицкого. А.Ю. Бахтурина, осветив основные моменты конфессиональной политики на занятых землях, подчеркивает, что она была теснейшим образом связана с вопросами не только конфессиональными, но и политическими. Именно тесное сплетение вопросов веры и государственной политики привело к резкому обострению ситуации, когда меры, предпринимаемые российскими властями, были восприняты как новая волна гонений на греко-католическую церковь (С.180).

Подводя итоги своего исследования, А.Ю. Бахтурина приходит к выводу, что интерес России к восточнославянским владениям Австро-Венгрии был обусловлен целым комплексом внутри- и внешнеполитических причин. По мере усиления напряженности в отношениях с Австро-Венгрией усиливался и

интерес России к ее славянским землям, и своего пика эта тенденция достигла в начале мировой войны, когда Россия официально объявила себя защитницей славянских народов.

Автор отмечает и существование внутриполитических причин усиления интереса к Галиции. Прежде всего, это необходимость укрепления России как национальной империи и активное противодействие сепаратистским движениям, особенно тем, которые пользовались поддержкой из-за рубежа, польскому или украинскому.

А.Ю. Бахтурина проделала большую работу, собрав и проанализировав значительный пласт архивных материалов, связанных с вопросами организации управления на занятых российскими войсками австрийских территориях. Ее монография не только восполняет существующий в историографии пробел, но и позволяет составить новое, более глубокое представление о политике Российской империи в указанный период.

Вместе с тем нельзя обойти вниманием и слабые стороны рецензируемого труда. Прежде всего, основным его недостатком, на наш взгляд, является несколько поверхностное изучение литературы, посвященной исследуемой теме. Автор фактически проигнорировала многочисленные исследования на польском, украинском, немецком языках [1]. В этих странах давно существует устойчивый интерес к проблемам восточнославянских земель Австро-Венгрии, в том числе к межнациональным отношениям и их влиянию на международное положение в начале XX в. Без привлечения этой литературы исследование становится неполным. Без должного внимания оставлены и современные российские исследования, так или иначе связанные с этой проблематикой. Среди них следует прежде всего отметить монографию Н.М. Пашаевой [2], много лет занимающейся изучением русофильского движения в Галичине.

Недостатком работы является отказ от освещения политики австрийских властей в Галиции после ухода из нее русских войск. Эта политика не случайно получила название геноцида русского народа в Галичине и достаточно широко освещена в литературе [3]. Наконец, без ответа остаются главные вопросы, которые возникают при прочтении монографии: были ли неудачи в российской политике в Галиции связаны с конкретными просчетами администрации, или же Российская империя в принципе не могла играть роль национального государ-

ства и “органически” включить в свой состав новые славянские территории? Существовала ли в России достаточно привлекательная для зарубежных славян, даже “единокровных братьев”, национальная идеология, которая сделала бы для них привлекательной идею присоединения к “державной России”? В то же время указанные недочеты монографии не могут изменить сложившееся у рецензента мнение о ней как о своевременном, грамотно проведенном исследовании, которое способствует ликвидации одного из “белых пятен” истории.

© 2003 г. М.Э. Клопова

СПИСОК ЛИТУРАТУРЫ

1. Гунчак Т. Перша половина ХХ століття. Наріс політичної історії. Київ. 1993; Metropolita Andrzej Szeptyceki, studia i materialy. Kraków, 1994; *Partacz Cz.* Od Badieniego do Potockiego. Stosunki Polsko ukraińskie w latach 1888–1908. Torun, 1996; *Kannelер А.* Россия – многонациональная империя. Возникновение, история, распад / Пер. с немецкого. М. 2000.
2. Пашаева Н.М. Очерки истории русского дворянства в Галичине XIX–XX вв. М., 2001.
3. Ваврик В.Р. Терезин и Талергоф. М., 2001.

Славяноведение, № 3

Korespondence: T.G. Masaryk – B. Hlaváč. Praha, 2001. 334 s.

Переписка: Т.Г. Масарика – Б. Главач

Рецензируемая книга, выпущенная чешским Институтом Т.Г. Масарика, является достаточно нетипичной публикацией в ряду других изданий этого научного учреждения. Из девятнадцати изданий Института она, с точки зрения ценности материала, бесспорно претендует на то, чтобы быть одной из первых по значению. Характерно, именно этот труд – первый в планируемой серии, которую можно обозначить как “Переписка Т.Г. Масарика”.

Содержание писем, включенных в книгу, их высокая информативность и откровенность представляют большой интерес. На фоне других, в том числе и документальных, работ Института, эта книга отличается тем, что позволяет читателю создать представление о, безусловно, одной из ключевых фигур новейшей чешской истории – Т.Г. Масарике. Выражаясь современным языком, он стал “культовым” персонажем, о котором можно писать либо хорошо, либо ничего. Эта публикация, в силу своего содержания, создает совершенно иной, новый облик первого президента Чехословацкой Республики, лишенный мифологического флера.

Издание подготовлено коллективом авторов, среди которых такие известные чешские ученые, как В. Доубек, М. Кучера, З. Шолле и другие; рецензентами с чешской стороны выступили З. Шолле и не менее известный исследователь З. Карник.

Книга состоит из предисловия, основной части, включающей 317 писем, дополнения к основной части (15 писем), главы “Разъяснения к письмам Т.Г. Масарика”, написанной Б. Главачем в то время, когда он занимался сборником данной корреспонденции, замечаний редакторской группы, краткого перечня всех публикуемых писем, списка сокращений и алфавитного указателя персоналий. Сборник максимально приспособлен для удобства читателя: каждое письмо основной части и дополнений пронумеровано, снабжено указанием даты, затем следуют основной текст, подробная сноска на место хранения данного документа и примечаний редакторов. При этом сначала даны примечания, касающиеся различных сложностей чтения или восприятия данного письма (например, следует перевод какого-либо употребленного автором немецкого выражения на чешский язык), затем кратко прокомментированы отдельные фрагменты писем, чаще всего исторического содержания, разъясняющие различные подробности исторической ситуации или жизни персонажа.

В работе над данным сборником составителями были использованы материалы двух пражских архивов – Архива Национального музея (ф. Б. Главача) и Архива Т.Г. Масарика. Как указано в заключении, составители не претендуют на то, что переписка представлена полностью, предполагая,

что часть документов может находиться в Архиве памятников национальной письменности, а часть могла вообще не сохраниться. При этом подавляющее большинство опубликованных писем – оригиналы, и лишь в отдельных случаях письма восстанавливались по сохранившимся описаниям.

Предисловие данного сборника написано М. Кучерой и представляет собой краткий обзор жизни Б. Главача, известного чешского журналиста, сотрудничавшего в различные годы в таких популярных газетах и журналах, как “Národní Politika”, “Národní Listy”, “Naše Doba”, “Die Zeit”, “Union” и других и бывшего, что еще раз убедительно подтверждает переписка, близким другом Т.Г. Масарика. В предисловии также дана краткая история создания архива писем Т.Г. Масарика, начало которому было положено самим Б. Главачем, и той роли, которую сыграл в этом процессе Й. Навратил (директор Института Т.Г. Масарика в 1951–1954 гг.). М. Кучера подчеркивает, что только благодаря Й. Навратилу исследователи на настоящей момент располагают данной перепиской в максимально возможной полноте.

Что касается основной части, то, как говорилось, она включает 317 писем, из которых 79 было отправлено Б. Главачем Т.Г. Масарику, а 238 Т.Г. Масариком Б. Главачу. Письма охватывают временной промежуток с 1899 по 1931 г., но – и это признают и составители сборника – не все годы представлены одинаково полно. При этом большая часть писем (308) относится к периоду 1899–1915 гг., оставшийся промежуток представлен крайне слабо. В. Доубек объясняет этот факт тем, что, возможно, письма этого периода не сохранились или еще не обнаружены.

Приведенные в основной части книги письма дают исследователю множество разнообразных сведений из самых различных областей. Их можно разделить на несколько групп и подгрупп. Первая группа содержит информацию о жизни Т.Г. Масарика как частного лица, вторая – раскрывает его деятельность как политика и, наконец, третья, наиболее обширная, дает сведения, касающиеся общественно-политической жизни Чешских земель и Австро-Венгрии в период, ограниченный временем переписки. В свою очередь, третью группу можно разделить на несколько подгрупп, раскрывающих, например, взаимоотношения Т.Г. Масарика с наиболее видными политиками того времени, такими, как Й. Кайзл, В. Клофач, К. Крамарж, Б. Пацак, Й. Форшт и другими, внутривластные и внутривластные

отношения чешских партий, показывающих политическую обстановку в Чешских землях и Австро-Венгрии. Проводя такое разграничение, нельзя не отметить, что оно относится только к переписке периода 1899–1915 гг., корреспонденция же 1915–1931 гг., как уже говорилось, представлена слабо и в основном касается частных вопросов.

Именно сведения, отнесенные к третьей из выделенных групп, представляют собой, на наш взгляд, особый интерес для исследователя. Они с совершенно новой стороны освещают фигуру Т.Г. Масарика как политика, да и как человека. В первую очередь это проявляется в его характеристиках основных чешских политиков, будь то бывшие сторонники или актуальные “враги”. Так, например, о Й. Кайзле, с которым Т.Г. Масарик сотрудничал в 80–90-е годы XIX в., он пишет с явным пренебрежением, хотя и выделяет его из ряда других политиков. Делает он это подобным образом: “По сути, Кайзл из того триумвирата – Резек, Крамарж, Кайзл – был самым лучшим человеком” (С. 43). Постоянную критику со стороны Т.Г. Масарика, судя по его корреспонденции, вызывал К. Крамарж. Во множестве писем с самого начала переписки встречаются крайне нелицеподобные отзывы (от достаточных сдержанных и до едва ли не оскорбительных) как о самом К. Крамарже, так и о его деятельности (см., например, С. 34, 53, 63, 93, 175). Аналогично выглядит ситуация и с другими чешскими политиками. Согласно приведенным документам, Т.Г. Масарик предстает крайне авторитарным человеком, готовым в случае, если кто-то поступает, по его мнению, неправильно, обрушить на его голову весь свой гнев, практически не сдерживая эмоции.

Значительную информацию дают письма по вопросу о расстановке сил на чешской политической сцене перед выборами в рейхсрат в 1907 и 1911 гг. Интересны сведения о желательности для Т.Г. Масарика переговоров с аграриями в 1913 г. в целях ослабления младочехов. Особое внимание уделяется Национальной партии свободомыслящих и политическим действиям ее представителей, например Й. Форшту, Б. Пацаку, Ф. Фидлеру. Судя по письмам, Т.Г. Масарик поддерживал постоянные деловые контакты с последними, что не мешало ему отзываться о них также крайне негативно, критикуя их деятельность. Так, например, говоря о сложившейся после выборов 1911 г. ситуации, Т.Г. Масарик пишет: “Этот Пацак умеет

лишь сожалеть, но не пошевелит и пальцем, а Фидлер – попросту марионетка” (С. 181).

Приведенные в сборнике материалы помогают практически полностью реконструировать отдельные периоды в развитии чешского политического лагеря. Кроме того, они позволяют ответить на многие вопросы, связанные с определением места самого Т.Г. Масарика среди чешской политической элиты и его значения как практического политика в период, когда переписка велась наиболее активно.

Помимо того, корреспонденция Б. Главач – Т.Г. Масарик предоставляет исследователям обширный массив информации по проблеме заключения чешско-немецкого соглашения по ключевым вопросам языкового и административного урегулирования в Богемии, описывает обстоятельства и подоплеку ликвидации чешской автономии в 1913 г. Необычайно интересны приводимые Т.Г. Масариком прогнозы развития и исхода различных политических ситуаций (например, уже упомянутых переговоров о заключении чешско-немецкого соглашения). Также переписка содержит сведения о внешних связях, в первую очередь, естественно, Т.Г. Масарика, его контактах с известными европейскими, в том числе и российскими, общественными и политическими деятелями (Н.Пашичем, Й. Йовановичем, П. Милюковым, М. Горьким).

В приложениях к основной части приведено несколько писем, недатированных или датированных неточно, а также письма от дочери Т.Г. Масарика к Б. Главачу, Б. Главача к жене Т.Г. Масарика и В. Клофачу, В. Клофача к Т.Г. Масарику и К. Ледвины к Т. Бате.

Подводя итог описанию непосредственно содержательной части сборника, нужно

отметить, что, помимо прочего, в силу тесной связи Б. Главача с издательским миром, в переписке поднято множество вопросов, касающихся различных чешских печатных изданий. Все это делает ее ценным источником для исследований по истории чешской журналистики в предвоенный период. Наконец, необходимо сказать, что, несмотря на очевидную большую активность Т.Г. Масарика в данной переписке, ни в коем случае нельзя рассматривать Б. Главача как пассивного корреспондента. Его замечания, комментарии и сообщения бесспорно представляют собой большой интерес для читателя.

Заключение к сборнику, написанное В. Доубеком, содержит полезную информацию о происхождении и истории переписки Т.Г. Масарика и Б. Главача, а также о структуре сборника и редакторской работе над письмами.

Таким образом, рецензируемый сборник дает обширнейший и крайне интересный материал для исследователей истории Чехии и Австро-Венгрии в охватываемый им период и предоставляет информацию по самым различным ее аспектам. Несомненна и его ценность для изучения частной жизни и личности будущего президента Чехословацкой Республики. Также он, безусловно, интересен и тем, что создает базу для серьезных размышлений и читателю-неисторику, так как вступает в своего рода противоречие со сложившимся стереотипным представлением о Т.Г. Масарике. Нельзя не оценить смелость чешских коллег, которые показали нам Т.Г. Масарика посредством переписки – вещи глубоко интимной, а потому откровенной, с новой, довольно неожиданной стороны.

© 2003 г. Н.В. Седова

Славяноведение, № 3

С. В. НИКОЛЬСКИЙ. Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (Поэтика скрытых мотивов). М., 2001. 176 с.

Труды С.В. Никольского, видного ученого и неутомимого организатора, отметившего свой восьмидесятилетний юбилей, хорошо известны в нашей стране и за рубежом. Окончив русское отделение филологического факультета Московского университета, Никольский пришел в богемистику, которой

в первую очередь и посвятил свои многочисленные исследования. Но близость с русской литературой, весь образ мыслей и склад характера ученого, неразрывно связанного с русской культурой, его дух настоящего русского интеллигента, не раз отмечавшийся коллегами, друзьями, учениками – все это

накладывает отпечаток на научные работы профессора Никольского, пишет ли он о Ф.Л. Челаковском или Я. Гашеке, К.Г. Махе или И. Волькере.

Интересы С.В. Никольского удивительно многообразны. И все же есть автор, который остается в поле зрения исследователя уже более полувека. В 1950 г. вышло сразу несколько его статей в различных изданиях, посвященных 60-летию со дня рождения К. Чапека, выдающегося чешского писателя. Появлялись на русском языке многочисленные сборники рассказов, очерков, пьес Чапека, составленные С.В. Никольским. Защищенной в 1971 г. докторской диссертации “Сатирические утопии Карела Чапека” предшествовали самые разнообразные статьи о чешском писателе. Никольский в свое время не только “спас” обвинявшегося в “буржуазном гуманизме” Чапека от забвения в национальной культуре, но и внес огромный вклад в изучение его поэтики и философии. Последняя книга – интереснейшее исследование, выявляющее своеобразие и аналогии в судьбах и творчестве чешского фантаста и сатирика и М. Булгакова.

В параллельном анализе философской фантастики К. Чапека и М. Булгакова автор основывается на определенном сходстве в проблематике и художественной структуре их произведений. Оба писателя принадлежали к одной эпохе (даты их жизни практически совпадают), обоих волновали вопросы самого феномена человека и человеческого бытия, сближало их и повышенное внимание к макропроцессам, обеспокоенность нарастающей конфликтностью современного мира и небывалыми масштабами трагических катаклизмов. Для обоих характерны размышления о гуманистической природе человека и отклонениях от этой нормы в практике современных отношений – общественных, международных. Существенными чертами сходства, как показывает Никольский, обладает и структура произведений Булгакова и Чапека. Наконец, как подчеркивается в монографии, их произведения объединяет и принадлежность к жанру.

В исследовании, отмечает автор, сделана попытка совместить две задачи: идя по пути сравнительного анализа элементов художественной системы обоих писателей, Никольский делает, в особенности для Булгакова, дополнительные разработки, касающиеся тех или иных конкретных проблем и отдельных произведений.

В первой главе “Искусство научной фантастики, философской притчи и подтекста” речь идет о взаимодействии научно-

фантастической поэтики с иносказанием, с тайнописью, иначе говоря, с различными видами художественного письма, основанного на поэтике скрытых значений. Природа этого явления показана вначале на романе Чапека “Кракатит”. Здесь Никольскому удалось выявить сокровенный смысл романа и познакомить читателя с ранее неизвестными фактами из биографии Чапека, озабоченного любовью к Вере Грузовой.

Следующая глава “Сатира, гротеск и иносказания” посвящена, главным образом, роману Чапека “Война с саламандрами”, и здесь исследователь расшифровывает завуалированные значения, игры с именами, показывая, насколько многослойны чапекоские произведения, в которых существует целая градация иносказаний – от прямых и прозрачных до требующих от читателя большой проницательности.

Искусству подтекста, скрытых мотивов и неявных значений, что является одним из важнейших элементов богатейшей поэтики Булгакова, посвящена самая насыщенная, поражающая своими открытиями глава “В невидимой части ассоциативного спектра”. Еще в статьях, предшествовавших рецензируемой книге, Никольский пришел к заключению, что лежащая в основе повести “Роковые яйца” научно-фантастическая история с открытием красного луча и биологическими экспериментами над ним, является одновременно иронической аллюзией на революционный эксперимент в России, а образ профессора Персикова несет в себе философские ассоциации с Лениным. В исследовании впервые показано, что принцип аллюзии распространяется в повести и на иные мотивы и других персонажей – Бронского, Степанова, Рокка, в образах которых резонируют соответственно фигуры (и фамилии) Bronштейна-Троцкого, Сталина, Розенфельда-Каменева. Впервые обнаружено и расшифровано влетенное в повесть “Роковые яйца” довольно значительное по объему иносказание о гонениях большевистских властей на церковь в начале 1920-х годов. Раскрыт способ кодирования, примененного автором повести для скрытого изображения событий и намеков на реальных их участников.

Есть в книге Никольского и новые наблюдения, касающиеся романа “Мастер и Маргарита”, особенно образа Берлиоза, который сопоставлен с образами Персикова и Преображенского, в связи с чем выдвинут тезис о родстве этих персонажей. Одним из элементов образа Берлиоза являются, как полагает автор исследования, ассоциации с Лениным. Никольский доказывает, что при-

видимые факты, несмотря на то что часть его толкований может показаться небесспорной, достаточны для подобного утверждения, с чем мы не можем не согласиться. Образам Персикова, Преображенского и Берлиоза сопутствует и триада их ассистентов: Иванов, Борменталь, Бездомный. Им, а также разгадке топонимических, "вещественных" символов посвящена глава "С думой о судьбах родины". Здесь же сделан вывод о сходстве не только философской проблематики и направленности, но и самих сюжетов фантастических произведений Чапека и Булгакова. Общий их знаменатель – предостережение перед опасностью радикализации человеческих отношений и опрометчивых волевых вторжений в естественный ход вещей, призывы к осторожности в обращении с миром.

Роман "Мастер и Маргарита", подобно повестям "Роковые яйца" и "Собачье сердце", на разных уровнях отмечен "дерзкими", как пишет исследователь, мотивами и реминисценциями, связанными с конкретными российскими событиями и их действующими лицами. И это лишь одна, хотя и важная составляющая романа, его богатой и сложной проблематики – философской, этической, нравственной. Именно на этой составляющей, с учетом ее недостаточной исследованности, а также в интересах сопоставления творчества Булгакова и братьев Чапек, и сосредоточено внимание автора рецензируемой книги.

Помимо черт типологического сходства в проблематике и художественной структуре антиутопий К. Чапека и М. Булгакова, можно, как считает автор монографии, говорить и о творческом контакте русского писателя с Чапек. Этой теме посвящен раздел "Драмы о новых Адамах (Карел Чапек – Алексей Толстой – Михаил Булгаков)". Речь идет о возможных отзвуках в пьесе Булгакова "Адам и Ева" драмы Чапека "R.U.R.", с которой он мог познакомиться через А. Толстого и его пьесу "Бунт машин", написанную по мотивам драмы Чапека и, по сути, представляющую собой творческие вариации на ее тему. Приведены аргументы в пользу большего или меньшего знакомства Булгакова с пьесами Толстого и Чапека, высказывается предположение о том, что сам интерес к научной фантастике, появившийся у Булгакова в 1923–1924 гг. и тогда же впервые отразившийся в структуре его произведений, был навеян и стимулирован его соприкосновением с социальной фантастикой Толстого и Чапека. Никольский проводит сравнительный анализ пьес трех авторов, их содержания, лейтмотивов,

архитектоники. Он делает также обоснованный вывод о том, что написанная братьями Чапеками комедия "Адам-творец" типологически даже ближе драме Булгакова "Адам и Ева", чем "R.U.R.", и, хотя этой пьесы Булгаков определенно не знал (она была переведена на русский только в 1970-х годах), показательна общая направленность мысли, сходство поднятых проблем и отчасти фабульных мотивов.

В заключении книги автор на основе анализа философской фантастики К. Чапека и М. Булгакова приходит к подтверждению мысли о том, что в их творчестве ярко выражена тенденция к срастанию структуры антиутопии с конкретным обличительным повествованием о современности. Непростительно, однако, считает Никольский, воспринимать произведения этих двух писателей как реакцию на злобу дня. В своей монографии исследователь глубоко и обстоятельно показывает, что актуальные конкретно-исторические факты и реалии живут в сознании и творчестве Булгакова и Чапека в неразрывной связи с философским осмыслением общих проблем, законов и загадок бытия и истории. Основные драмы и романы Чапека Никольский с полным основанием называет произведениями о судьбах человечества, заканчивая книгу цитатой из чешского писателя: "<...> самое важное сегодня – это действительно сохранить многое из того, что является культурным достоянием человечества... Задача состоит в том, чтобы не утратить почву культуры под ногами. В этом первая и главная миссия интеллигенции".

Хотелось бы также отметить, что книга Никольского снабжена рисунками и иллюстрациями, среди которых есть весьма редкие, например портрет Веры Грузовой.

Монография профессора Никольского подытоживает многолетние изыскания автора в связи с творчеством Чапека и создает новые импульсы для изучения его многослойных произведений, а также творчества Булгакова. Впервые столь обстоятельно сравниваются два крупнейших писателя, принадлежащих чешской и русской культуре. В работе делаются поистине научные открытия, приоткрывается завеса над тайнами, много лет остававшимися неразгаданными. Выход в свет этой книги – большое событие в отечественной и зарубежной славистике.



Международная научная конференция “Польша в России – Россия в Польше. Диалог культур и политические отношения”

6–7 июня 2002 г. в Познани прошла Международная научная конференция “Польша в России – Россия в Польше. Диалог культур и политические отношения”, организованная Институтом политических наук и журналистики факультета общественных наук Университета имени Адама Мицкевича в Познани. Она стала плодотворным продолжением целого ряда научных встреч ученых двух стран, проводимых различными академическими и университетскими центрами, в центре которых актуальная проблематика – взаимодействие культур России и Польши в историческом и современном аспектах, изучение национальных стереотипов, обсуждение путей создания благоприятной атмосферы для контактов двух народов в сфере общественного сознания и политики.

Близкое соседство России и Польши на протяжении веков осложнялось резкими конфликтами, но также обуславливало взаимное влияние идей, теорий, художественных течений. Это присутствие польской культуры в России и русской – в Польше и оказалось в центре обсуждавшейся на конференции проблематики. Особое внимание уделялось взаимодействию политики и культуры: больше половины прочитанных докладов имело отчетливую политологическую направленность.

На пленарном заседании и пяти секциях конференции прозвучало 41 выступление ученых из России, Украины, Белоруссии, Польши (прежде всего из Познани, а также Варшавы, Кракова, Люблина, Ольштына, Щецина, Катовиц, Лодзи, Ополя и др.). Участников конференции приветствовали проректор Познанского университета проф.

С. Лоренц, заместитель декана факультета общественных наук проф. Я. Град, директор Института политических наук и журналистики проф. К. Робаковский. Было предоставлено также слово генеральному консулу Российской Федерации в Познани А. Яковенко.

Пленарное заседание открыл научный организатор конференции проф. Р. Парадовский. В его докладе “Польша – Россия. Ностальгия и будущее” прозвучала мысль о необходимости преодоления взаимных стереотипов, предубеждений. И многое здесь зависит и от политиков, и от ученых, деятелей культуры, средств массовой информации.

При достаточно большом интересе молодых поляков к России они получают явно недостаточные знания о ней, констатировала д-р Б. Кубис (Ополе), в учебниках истории акцентируются прежде всего польско-русские конфликты, русский язык утратил свои позиции в польской школе, мало кому знакомы имена А.С. Пушкина или Л.Н. Толстого. Выводы, сделанные на основе опроса учащихся, показывают, что полякам наиболее интересен политик М. Горбачев, а российская молодежь чаще вспоминает актрису Б. Брыльскую.

И. Задорожнюк (Москва) подчеркнул, что в преодолении негативных стереотипов важную роль должны сыграть разработки в области истории идей. Он построил свое сообщение на анализе “Истории русской общественной мысли” Г.В. Плеханова, который затрагивал проблему русско-польских отношений в российском восприятии. Проф. К. Робаковский обстоятельно проанализировал вопрос о польско-советской границе

в межвоенное двадцатилетие и в годы Второй мировой войны.

Дискуссию вызвало выступление д-ра филол. наук А.В. Липатова (Москва) “Разнонаправленный параллелизм русского восприятия Польши – государство и гражданское общество”, в котором проводилась мысль о внутреннем раздвоении русской культуры в России и СССР, повлиявшем на восприятие польского менталитета. Концепция докладчика подверглась уточнению со стороны польских коллег, в частности, с точки зрения того, в какие именно века и периоды польская культура оказывала значительное влияние на русскую духовную и общественную жизнь.

Остальные докладчики, выступившие на пленарном заседании, сосредоточились на проблеме русско-польских взаимоотношений в последние два десятилетия, которые принесли значительные изменения в мировую и европейскую политику, внутреннее и внешнее положение России и Польши. Д-р К. Федорович (Познань) проанализировал место Польши в международной политике России в 1991–2001 гг. О современном состоянии и перспективах развития визовых отношений между Польшей и ее восточными соседями в контексте вступления страны в Европейское сообщество говорил советник министра А. Грас. “Польша и Россия в перспективе новой современности” – так называется доклад проф. В. Кауте (Катовице). Д-р М. Червинский (Щецин) подробно проанализировал реакцию советской прессы на события в Польше 1980–1981 гг. Выступление д-ра С. Войцеховского (Познань) “Польша и Россия – разные типы современного национализма” выявило схожую активность в обеих странах представителей одного типа национализма – популистского. Закономерно, что наиболее острые вопросы современной политики, затронутые на конференции, вызывали неоднозначные суждения и бурную дискуссию.

В секционных заседаниях ряд докладов был посвящен деятельности известных польских политических лидеров, представителей культуры Польши в России, их активному, хотя не всегда добровольному, “присутствию” в российской общественной жизни: магистр М. Бялокура (Ополе) – «Иоахим Бартошевич как редактор “Дзенника Киевского” в 1906–1912 гг.»; проф. Я. Жонца (Ополе) – «Руководители “Виленской ассоциации” в сибирской ссылке (1797–1801): по материалам рукописи воспоминаний Ксендза Фаустина Чечерского»; д-ра М. Пательского (Ополе) – «Обучение Юзефа Пилсудского

в Харьковском университете. Причины выбора этого учебного заведения и академическая среда»; проф. А. Кийяса (Познань) – “Польские профессора в Новороссийском университете в Одессе до 1917 г.”

Тесная связь состояния научных и культурных контактов русских и поляков с характером политических взаимоотношений России и Польши в разные исторические периоды была выявлена в докладах проф. С. Михальченко (Брянск) – “Императорский университет в Варшаве: проблемы польско-русских отношений (1869–1915)”; проф. Я. Собчака (Познань) – “Литва на перепутье между Россией и Польшей”; д-ра А. Гловацкого (Лодзь) – “Научная и культурная проблематика в деятельности польского посольства в СССР в 1945–1946 гг.”

Анализу возникновения и функционирования различных стереотипных образов “соседа” в польских и российских средствах массовой информации были посвящены выступления И. Коженевской-Берчиньской (Ольштын) – “Образ В. Путина на фоне стереотипов России”, магистра И. Пешкова (Познань) – «Восприятие “шоковой терапии” в русской экономической прессе», магистра Л. Святек (Лодзь) – «Образ Польши в СССР на страницах журнала “Пшиазнь” в 1946–1956 гг.», д-ра Ф. Шпора (Катовице) – «Цензура в печати как блокада “диалога культур” в 1981–1990 гг. (анализ содержания и мотивов цензурных купюр, касающихся СССР, на страницах католического еженедельника “Гошч Неджелъны”» и др.

Карикатурный образ соседа, создаваемый литературой и печатью, анализировала д-р Е. Погонювская (Люблин) в своем выступлении “Пардон, СССР. Комизм польских антисоветских стихов межвоенного двадцатилетия” вызвал соответствующую реакцию слушателей, так как зачитанные стихи были действительно смешны. Изучению культурно-религиозных феноменов, сближающих или разделяющих две нации, посвятили свои сообщения д-р В. Розыньковский (Люблин) – «“Молитвы книгини Гертруды” – памятник польско-русской культуры XI в.», проф. А. Фурер (Щецин) – “Проблемы современного православия в России в XX в.».

В секциях, посвященных диалогу культур, прозвучали доклады о восприятии поляками русской культуры, литературы, русского образа мысли на разных этапах исторического развития взаимоотношений двух народов. На материале начала XX в. эту те-

му разработала И. Стрыйчик (Варшава) в сообщении «Образ России в “Критике” Вильгельма Фельдмана», литературно-общественном журнале, пропагандировавшем движение “Молодая Польша”. В межвоенный период весьма влиятельным был журнал “Wiadomosci literackie” (1924–1939), на страницах которого восприятие русской культуры претерпело своеобразную эволюцию, условно обозначенную магистром М. Жилинской (Щецин) следующим образом: от “безднадежности русского мира” к “беспрецедентному эксперименту”. Автор доклада считает, что создатели журнала воспринимали советскую литературу как непосредственное продолжение русской предреволюционной.

Два польских писателя-эмигранта – Г. Херлинг-Грудзинский и Ю. Чапский – имели возможность познать Россию изнутри, отбыв срок в сталинских лагерях, оба, кроме того, были тесно связаны с русской литературой, преклонялись перед русской классикой и испытали ее влияние. Их открытие России стало предметом исследования двух ученых – д-ра Т. Сухарского (Слупск) и д-ра Д. Мазур (Быдгощ). Л. Суханек (Краков) охарактеризовал своеобразие восприятия русской культуры в Польше периода “Солидарности” и военного положения. Возродился интерес к ранее недоступным польскому читателю произведениям, направлениям философско-религиозной и общественной мысли, ко всему тому, что было загнано в подполье.

Польское культурное влияние на Россию XVI и XVII вв. в восприятии и оценке современных русских историков глубоко проанализировано в докладе проф. Х. Ковальской (Краков). Исследовательница выделяет концепции современных православных историков (митрополит Иоанн [Снычев], В. Большаков), считающих XVII в. периодом поражения, причины которого коренятся в католической и политической экспансии Польши. Другие историки вписывают польские влияния в общеевропейский контекст. Заслуживает внимания идея В. Ковалева, который предполагает, что трагедия России и Западной Европы происходит из-за отделения Правды от Свободы: Запад развивался, стремясь решить проблему Свободы, Восток оставался под влиянием идеала Правды; западное христианство сформировалось как историческое, тогда как русское было мистическим и эсхатологическим. В. Карпец и А. Корсаков оценивают российское стремление выполнять миссию Запада как утопию, доводя-

щую до конца процесс разделения того, что является Единым. Современная российская историософия определяет положение своей культуры в мире через осознание онтологических различий с соседними культурами.

Польская литература была широко представлена в русских журналах XIX в.: ее присутствие в многотиражной, популярной “Библиотеке для чтения”, издаваемой О. Сенковским, поляком по происхождению, рассмотрено магистром Д. Амброзак (Ополе). В докладе О.В. Цыбенко (Москва) “Поэты русской эмиграции и польский романтизм” показано, что высочайший интерес к польским поэтам-изгнанникам А. Мицкевичу, Ю. Словацкому и И. Крайсиньскому, проявленный в России на рубеже XIX–XX вв., не иссяк в “эмигрантской России”, в поэтическом творчестве и критике, переводах русских изгнанников – Д. Мережковского, Д. Философова, К. Бальмонта, И. Северянина, В. Ходасевича, Л. Гомолицкого. Свою миссию носителей высокой русской культуры, творческой свободы, погранной в Советском Союзе, русские эмигранты соизмеряли с ролью великой польской эмиграции XIX в., во многом сформировавшей национальное самосознание поляков. Автор приводит пример плодотворного продолжения и развития диалога между Мицкевичем и Пушкиным с подключением блоковской традиции в поэме Л. Гомолицкого “Варшава” (1934). К. Бальмонт в свою книгу очерков и эссе “Мой дом”, пронизанную ностальгией по родине, включает фрагмент под названием “Мысли Словацкого”, отбирая близкие ему афоризмы польского романтика. И. Северянин переводит “Мое завещание” Словацкого, помещая его в свой лучший сборник стихов. В. Ходасевич посвящает свои статьи столетию появления “Пана Тадеуша” Мицкевича, столетию драмы Красиньского “Иридион”.

Влиянию польских писателей на русскую литературу посвятила свое выступление проф. Е.З. Цыбенко (Москва). Изданная в русском переводе еще до революции “Лунная трилогия” Е. Жулавского, очевидно, была хорошо знакома А. Толстому, вдохновленному многими мотивами второй части произведения польского писателя, романа “Победитель” (о полете на Луну), что отразилось в его “Аэлите”. Очевидны и параллели, не случайно возникшие между антиутопией “Мы” Е. Замятина и третьей частью “Лунной трилогии”, романом “Старая Земля”. Автор убедительно доказывает,

что речь идет не просто о переключках типологического характера, а о творческом заимствовании некоторых идей, сюжетных ходов, деталей, которое не делает в наших глазах произведения А. Толстого и Е. Замятина не оригинальными, подражательными, а указывает на глубокую почву традиции, на которую опирались русские романисты, традицию мировой, и в том числе польской, литературы.

Проф. В.А. Хорев (Москва), руководитель секции культуры на конференции, сделал доклад на тему “Политика и поэтика (вмешательство СССР в послевоенную культурную жизнь Польши)”. Он прозвучал как нельзя более кстати на этом форуме, который был пронизан идеями взаимообусловленности политики и культуры, во многих сообщениях политологические аспекты весьма тесно переплетались с культурологическими и даже чисто литературоведческими. Доклад строился на анализе ряда документов, в том числе архивных, которые дают представление о роли так называемого советского фактора в культурной жизни ПНР в 1940–1980-е годы. Автор продемонстрировал отлаженную работу механизма, с помощью которого обрабатывалось массовое сознание в Польше, насаждалась коммунистическая идеология, пропагандировалась политика СССР, преподносились образцы советской культуры. Тем не менее механизм оказался, видимо, не идеальным, так как национальные культурные традиции не удалось вытравить из сознания людей либо приспособить их к нуждам коммунистической идеологии. Сопротивление поляков идеологическому давлению со временем возросло.

Д-р филол. наук. А. Базилевский (Москва) внес значительный вклад в популяризацию польской литературы в России, тех имен и произведений, которые, безусловно, заслуживают внимания русского читателя, так как без них трудно представить себе богатство и разнообразие художественных достижений талантливого польского народа. Базилевский поделился своим опытом переводчика и издателя, представив подготовленную им коллекцию польской литературы, вышедшую в издательстве “Вахазар”. Продукция “Вахазара” представлена несколькими томами польской поэзии,

произведениями С. Виткевича, С. Мрожека и др. Большой удачей стало издание Ц. Норвида в томе большого объема (“Пилигрим или последняя сказка”, 2002 г.), подготовленном Базилевским при участии Высшей гуманитарной школы в Пултуске (Польша).

В. Тарнавский (Житомир) говорил об особой близости произведений А. Сапковского молодому российскому читателю, чем объясняется популярность его переводов в России. Был прочитан также доклад доц. В.Я. Тихомировой (Москва), которая не смогла приехать в Познань из-за болезни, – “Языковая и внеязыковая действительность России в польской лагерной литературе и ее функционирование в современном сознании поляков”. Ею привлечены к анализу произведения о сталинских лагерях Г. Херлинга-Грудзиньского, М. Ваньковского, Ю. Чапского, Б. Скарги. С помощью литературы элементы русской материальной и духовной культуры советского периода проникают в польское культурное пространство и бытовое сознание современных поляков.

Надо отметить прекрасную организацию конференции, осуществленную научным руководителем проф. Р. Парадовским, ученым секретарем Оргкомитета Ш. Оссовским. Забота об участниках форума, искреннее радушие хозяев проявилось и в том, что гости имели возможность прослушать концерт прекрасного, известного в стране и за рубежом коллектива – Камерного хора “*Capella musicae antiquae orientalis*”, руководимого Л. Заборовским, выпускником Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Хор исполнил церковные песнопения русских композиторов – Д. Бортнянского, М. Березовского, С. Рахманинова, П. Чеснокова и др.

Конференция, безусловно, выполнила свою задачу: способствовать русско-польскому культурному сближению, созданию благоприятного климата для налаживания политических, экономических и чисто человеческих связей между двумя народами. Научные встречи планируется продолжить как в России, так и в Польше и по их результатам выпускать ежегодники.

© 2003 г. О.В. Цыбенко

“Круглый стол” “Поэтический мир славянства”

10 сентября 2002 г. в Институте славяноведения РАН состоялся “круглый стол”, посвященный проблемам исследования славянской поэзии и приуроченный ко дню рождения д-ра филол. наук, руководителя Центра истории славянских литератур до 1945 г. (Отдел истории славянских литератур ИСл) Л.Н. Будаговой. Поэзия, представляющая собой, по глубокому убеждению юбиляра, “душу литературы, подобно музыке, которую называют душой искусства”, является предметом особого внимания и симпатии Людмилы Норайровны. Вместе с тем в программу “круглого стола” были включены доклады, посвященные более широко вопросам истории литературы и культуры.

Вступительное слово произнес заместитель директора ИСл РАН, д-р филол. наук, проф. В.А. Хорев, отметивший значимость исследовательских и организационных заслуг юбиляра в области славистики и научной деятельности Института. Приветствие В.А. Хорева явилось прелюдией и к многочисленным поздравлениям, прозвучавшим в честь виновницы торжества уже по окончании работы “круглого стола” – на заседании Ученого Совета. Научная деятельность и человеческие качества Л.Н. Будаговой получили высокую оценку в выступлениях С.В. Никольского, стоявшего у истоков формирования коллектива литературоведов, в котором трудится юбиляр; заведующей секцией литературоведения кафедры Славянской филологии МГУ, доцента А.Г. Машковой; зам. директора Государственного института искусствознания И.В. Поповой. О широком признании научных трудов юбиляра в России и за рубежом свидетельствовали поздравления, пришедшие из Санкт-Петербургского государственного университета, из посольств Чехии и Словакии в Москве. Много теплых слов услышала Людмила Норайровна и от других своих друзей и коллег.

На заседании “круглого стола” было заслушано двенадцать научных докладов. Часть из них составили выступления, специально посвященные отдельным вопросам развития чешской и словацкой литератур, занимающих приоритетное место в научных трудах Л.Н.Будаговой.

В открывшем научную программу выступлении С.В. Никольского “Инобытие” человеческой энергии в поэтическом осмыслении Иржи Волькера” анализировались философские аспекты баллад чешского поэта. Было отмечено, что в высшей мере свойственное Волькеру ощущение “непрерывности” и взаимосвязанности всего сущего в мире определило его особое внимание к вневличным последствиям поведения человека и их позитивным или негативным, часто трагическим вторжениям в судьбы других людей. Этическая и социальная направленность баллад Волькера и их художественная структура рассматривались в контексте развития данного жанра в чешской литературе, в контексте творчества К.Я. Эрбена, Я. Неруды, П. Безруча, В. Незвала. Доклад С.В. Никольского обозначил проблематику, затронутую также Н.Н. Пономаревой и Н.В. Шведовой. Объединяющей эти исследования исходной точкой стала попытка выявить внутреннюю энергетическую направленность творчества поэта.

Н.В. Шведова в своем выступлении “Судьба человека в атомном столетии (по произведении Мирослава Валека)” показала, что в творчестве словацкого поэта понимание жизни отмечено ощущением глобальности и катастрофичности происходящего. Валеk подчеркивает смертность человека, но он “вечен” как представитель рода. Произведения 1960-х годов у Валека пронизаны больше тревогой, чем “официальным” оптимизмом, “коллективизм” в его стихах – органическая реакция на уязвимость одиночки.

Доклад Н.Н. Пономаревой был посвящен болгарскому поэту Валерию Петрову, вошедшему в литературу в начале 1940-х годов. Сохраненная поэтом на его нелегком жизненном пути вера в человека и гуманитарные ценности оказалась доминирующей в творчестве Петрова. Добрый юмор и сатирическая острота, ирония и самоирония, шутки с серьезным подтекстом, парадоксы в подходе к жизненно важным проблемам прошлого и современности исключали в стихах Петрова пафосность и декларативность, нередко свойственные болгарской литературе 1950-х годов. Обвинив поэта в

формализме, пессимизме, декадентстве, неуместной иронии и т.д., официальная критика безуспешно стремилась подчинить творчество Петрова сложившимся стереотипам, но в 1960-е годы была вынуждена признать его талант. Поэма “Погожей осенью” стала для болгар символом нового времени. Десятилетие признания сменилось десятилетием неприятия – за поддержку присуждения А.И. Солженицыну Нобелевской премии поэт лишился возможности издавать свои произведения, но именно в это время проявил себя как замечательный переводчик и детский писатель. В последующие годы Петров продолжает активно работать, не отступая от своих нравственных и художественных принципов.

Выступление *С.А. Шерлаимовой* “К проблеме чешского символизма” было посвящено все еще недостаточно изученной, на взгляд автора, литературоведением особой роли этого художественного направления в развитии национальной поэзии. Творчество таких поэтов, как О. Бржезина, К. Главачек и других, оказало большое влияние на художественный облик прежде всего поэзии чешского авангарда, начиная с В. Незвала, высоко ценившего их как своих предшественников. Ярким оказалось начало творческого пути С.К. Неймана, связанное с символизмом. Это течение представляло собой существенный этап в процессе синхронизации развития чешской литературы с европейским литературным процессом. Докладу *С.А. Шерлаимовой* близок по духу доклад *Н.Н. Стариковой* “Словенские поэты-экспрессионисты”: их роднит широта охвата материала и проникновение в суть национальных особенностей развития общеевропейских художественных направлений. Выступление *Н.Н. Стариковой* было посвящено периоду между двумя мировыми войнами, который в словенской литературе характеризуется атмосферой свободного творческого поиска и значительного художественного плюрализма, следствием чего стали бесспорные достижения в поэзии. Существенное влияние на литературную ситуацию 1920–1930-х годов оказала поэтика экспрессионизма. Его элементы нашли свое отражение в творчестве поэтов, по-разному идейно и художественно ориентированных: в революционной лирике А. Подбевшека, С. Косовела, Т. Селишкара и М. Клопчича, в стихах авторов католической направленности А. Водника, Б. Водушека, Э. Коцбека, в символических образах “космической” поэзии М. Ярца.

Доклад *Ю.В. Богданова* “К проблематике чешско-словацкого литературного контекста”, который, казалось бы, выбивался из общей направленности “круглого стола”, тем не менее был посвящен проблеме, так или иначе затронутой в исследованиях остальных участников встречи. Широчайшей областью для научных изысканий представляются взаимодействия различных культур и литератур, их действительный диалог и полилог, самоидентификация отдельных национальных культур через образ “другого”, через восприятие или отрицание его опыта. В своем выступлении Ю.В. Богданов затронул проблематику чешско-словацкого литературного контекста, которая приобрела особую актуальность в “оттепельные” 1960-е годы, когда в трудах С. Шматлака, а вслед за ним – К. Розенбаума, М. Бакоша, М. Томчика, Д. Дюришина и других словацких ученых получила развернутую, заостренную трактовку идея принципиальной самостоятельности и равноправия обеих национальных литератур, исторически тесно связанных между собой и на разных этапах взаимно дополнявших друг друга. В атмосфере национально-демократического подъема подобная трактовка отвечала нараставшим общественным требованиям государственного переустройства Чехословацкой республики на федеративной основе.

Завершил первую часть встречи доклад *Г.П. Мельникова* “Дихотомия патриотизма и европейскости в поэзии Богуслава Гозиштейнского из Лобковичи”, посвященный крупнейшему чешскому поэту эпохи Ренессанса. В поэтическом творчестве Б. Гозиштейнского из Лобковичи парадигма включенности чешской истории и культуры в католический универсум сочеталась с приверженностью идеям чешского патриотизма, понимаемого не с культурно-лингвистической точки зрения, а в государственно-исторической ретроспекции. Величие Чехии поэт видит в прошлом (“Элегия на смерть императора Карла IV”), современность он воспринимает остро критически (“Сатира к святому Вацлаву” и др.). Возвеличивание поэтом чешских персонажей в антично-ренессансном духе способствует приобщению чешской традиции к общеевропейской. Функцию “моста” между “европейскостью” и “чешскостью” выполняет категория “*patria*”, неизменно входившая в число наивысших ценностей как латинской, так и чешской культурно-политической традиции.

Основной посылкой доклада *А.В. Лунатова* “История и современность: к вопросу

о национальных путях возвращения в наднациональную Европу” стало утверждение, что славяне принадлежат к той части Европы, которую объединяет то, что ее разъединяет. Преодолеть сей оксюморон, по мнению автора, и призваны гуманитарные науки, которые в силу самой своей сущности не могут быть сведены к какой-либо идеологической системе, создаваемой государственными, конфессиональными или партийными силами, так как воспринимают национальные и универсальные составляющие общей цивилизации в их диалектическом единстве. Поиски выхода из тупика “реального социализма” в общеевропейское пространство означают национально обусловленное преодоление исторически сложившейся ситуации. Рациональное осмысление национальной истории в общецивилизационном контексте способствует актуализации позитивного наследия прошлого. Олицетворяющие вызов объединяющейся Европы демократическая система государства и права, этнический симбиоз, культурная открытость имеют свою историческую параллель в традициях государственности Новгорода, Дубровника, ренессансной Литвы и Польши. Уяснение такого опыта способствует органичности формирования национального сознания.

В особую группу могут быть выделены доклады В.А. Хорева, М.Г. Смольяниновой, Ю.А. Созиной и И.В. Ястребова, посвященные русской теме в жизни и творчестве поэтов – представителей западного и южного славянства, а также русско-славянским литературным связям.

В докладе В.А. Хорева “Константы Ильдефонс Галчиньский и русские поэты” анализируется творчество польского поэта, в чьих стихах реальность и вымысел, осознание всей серьезности момента и шутка, сентиментальное и ироническое, возвышенное и гротескное являются вместе – как и в жизни. Галчиньский с детства увлекался русской поэзией – ему были близки А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, любовь к А.А. Блоку поэт пронес через всю жизнь. Во многих его стихах встречаются блоковские образы, реминисценции из его поэзии. Творческие импульсы шли к Галчиньскому и от поэзии С.А. Есенина. Обращение поэта к Блоку и Есенину способствовало проявлению оригинального и самобытного поэтического таланта. В 1960-е годы к Галчиньскому пришла популярность в России. Автор доклада раскрыл и влияние творчества польского поэта на проблематику и стиль ряда произ-

ведений русских поэтов – Д.С. Самойлова, Б.Ш. Окуджавы, И.А. Бродского.

М.Г. Смольянинова в докладе “Россия в поэзии Ивана Вазова” обратилась к наиболее ярким произведениям болгарского поэта, которые вошли в поэтическую трилогию, созданную им в 70-е годы XIX в. (сб.: “Знамя и гусли”, 1876; “Горе Болгарии”, 1877; “Избавление”, 1878). В этой трилогии Вазов воспел героизм русских воинов, сложивших свои головы на алтарь болгарской свободы. Поэзия Вазова – не только литература “высокого стиля”, но и хранительница исторической памяти народа, поэтическое послание прошлого будущему.

Выступление Ю.А. Созиной “Переписка Отона Жупанчина. Несколько слов о России” осветило некоторые конкретные вопросы отношения словенского поэта к России. Особое внимание было уделено первому произведению Жупанчича о России – “Канделябры горят”. Поэт очень тонко почувствовал безвыходность ситуации, сложившейся в российском обществе рубежа XIX–XX вв., однако готовность к испытаниям и при этом отсутствие разочарованности говорят о невероятной силе русского духа. Стихотворение наполнено ощущением бесилия, скованного русский народ, но мощь его духа, пробивающаяся сквозь строки, завораживает и самого поэта.

В докладе “Пролетарская поэзия 20-х годов в Чехословакии и России” И.В. Ястребов представил свое видение данного художественного направления в чешской литературе как своеобразного продолжения русских идей и инноваций. В пролетарской поэзии в Чехословакии своеобразно преломился и “чешский вопрос”. Докладчик осуществил культурологическое сопоставление двух вариантов пролетарского направления в поэзии, выделив при этом ее “русскость” и “чешскость”. Предметом особого внимания автора стала специфика национального менталитета поэтов, повлиявшая на характер протекания литературного процесса в обеих странах.

В заключение Л.Н. Будагова, поблагодарив организаторов и участников встречи, подвела итоги работы “круглого стола” и наметила возможные дальнейшие пути разработки данной проблематики. По ее мнению, поэзия славян – та область культуры, которая требует особого внимания, популяризации и научного “лоббирования” со стороны современных ученых-славистов.

Конференция “Фантастика и сатира в славянской литературе и культуре XX века”

5 марта 2002 г. в Институте славяноведения РАН состоялась научная конференция, посвященная 80-летию видного российского слависта, д-ра филол. наук, проф. Сергея Васильевича Никольского, организованная Центром истории славянских литератур до 1945 г. Название конференции отражает одну из главных областей научных интересов юбиляра, автора книг “Карел Чапек – фантаст и сатирик” (1973), “Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова” (2001) и других работ. В конференции приняли участие специалисты по чешской и русской литературам и культурам (включая театр), а также исследователи словацкой, польской, словенской литератур. Вступительное слово произнес д-р филол. наук, проф. *В.А. Хорев*.

Ряд докладов был посвящен проблемам творчества М. Булгакова. *Е.А. Яблоков*, отметив присущую С.В. Никольскому склонность к обыгрыванию имен собственных у Булгакова и других писателей, проследил использование мифологемы св. Николая в художественном мире Булгакова; он констатировал, что “Сергей Васильевич Никольский” – удивительно “булгаковское” сочетание. Подтекстный образ св. Николая не несет у писателя однозначно “положительной” оценки. *А.Б. Левин* в докладе “Пересечение параллельных” рассмотрел совпадения в произведениях М. Булгакова и В. Набокова, истоки которых лежат намного глубже простых заимствований (общие источники и некие мистические причины). В докладе *Б.С. Мягкова* прослежена связь дяди писателя, Н.И. Булгакова, преподавателя Тифлисской духовной семинарии, и семинариста Иосифа Джугашвили, будущего Сталина; интерпретация этого биографического материала вошла в пьесу М. Булгакова “Батум”. Автор подробно анализирует критику баптизма (и вообще протестантизма) в работах Н.И. Булгакова, его жизненный путь, отношение М.А. Булгакова к Сталину в разные годы, его неоднозначность, гуманистический пафос и другие особенности пьесы “Батум”, в том числе – место в ряду “биографических” пьес (“Мольер”, “Пушкин”).

Л.А. Софронова, цитируя работы С.В. Никольского, рассмотрела оппозицию “человек/машина” в романе Е. Замятина “Мы” и в пьесе К. Чапека “R.U.R.”. У Чапека робот преобразуется в человека, Замятин прослеживает путь человека к машине. Оба писателя, как заметила докладчица, создавали свои произведения в жанре утопии; они возвращаются к архетипам сознания и “христианизируют” утопии, находясь в общем культурном пространстве и отвечая запросам времени (20-е годы). Темой доклада *Е.З. Цыбенко* стала “Лунная трилогия” Е. Жулавского (1874–1915) как один из возможных литературных источников романа Е. Замятина “Мы”. Романы польского писателя издавались в русском переводе в начале XX в., и Замятин мог с ними познакомиться. Источником романа “Мы” стал роман из трилогии Жулавского “Старая Земля”. Другими стимулами явились романы Г. Уэллса. Действие “Старой Земли” происходит в XXVII в. Между романами обнаруживается идейное и сюжетно-композиционное сходство. Отмечены типологические схождения между романом “Мы” и драмами С.И. Виткевича.

Л.Н. Будагова обратилась к некоторым аспектам проблемы “функции фантастики в чешской литературе XX в.” В формировании традиций чешской фантастики, заложенных Я. Арбесом и Св. Чехом, выдающуюся роль сыграл К. Чапек – герой исследований С.В. Никольского. Многие предсказания Чапека (наступление фашизма, негативные последствия научно-технического развития) сбылись; для писателя характерна связь фантастики с реальностью. Существовала в чешской литературе и нереалистическая фантастика (Л. Клима), подчеркивавшая иррациональность, абсурдность бытия. В поэзии фантастика формировала особые течения (прежде всего сюрреализм). *И.А. Герчикова* представила движение чешской фантастики от К. Чапека к М. Урбану. Исследовательница подчеркнула преимущественно социальный (не “технологический”) характер анализируемых произведений. Творчество Чапека открыло новую эпоху чешской и мировой фантастики. Велика

роль С.В. Никольского в изучении творчества писателя. Автор также отметила произведения Я. Вайса, И. Гауссмана, Ф. Бегунека, И.С. Купки, И. Марека и других авторов.

К пражской теме в фантастике Чехии конца XIX – начала XX в. обратился А.Б. Бобраков-Тимошкин, он выдвинул гипотезу о существовании “пражского текста” в литературе, создававшейся на чешском и немецком языках. Писатели, интересующие автора, – В. Мрштик, Ю. Зейер, И. Карасек, Ф. Кафка, Л. Перутц, П. Леппин, Г. Майринк. Основную роль в пражской фантастике играют, считает докладчик, мистические и магические мотивы, в том числе образ Голема. В докладе С.А. Шерлаимовой речь шла об использовании приемов фантастики в литературе современного чешского постмодернизма. На примере романов И. Кратохвила (“Медвежий роман”, “Песнь среди ночи”, “Авион”, “Сиамская история”, “Бессмертная история” и др.) были показаны произвольность, “клиповость” смещения фантастики и реальности, соответствующие “вседозволенности” постмодернизма и отличающие прозу этого автора, например, от философско-фантастических произведений. Чешской фантастике 1990-х годов было посвящено и выступление Е.Н. Ковтун. Докладчица констатировала “прозападную” ориентацию фантастов, подражательность их произведений. В качестве ведущих авторов были представлены Й. Пециновский, О. Нефф, М. Урбан; у двух последних отмечены чапеквские тенденции.

Л.П. Солнцева рассказала о “театре Яры Цимермана”, возникшем на основе анекдота о том, как были найдены рукописи Цимермана, “чешского Леонардо да Винчи”, который занимался проблемами науки, культуры, искусства. Два молодых человека, придумавших эту историю, решили развить ее для современных зрителей, создав чисто мужскую труппу и включив в программу представления семинар об открытии Цимермана.

А.Г. Машкова рассмотрела взаимодействие реального и фантастического в словацком натурализме – литературном течении 30–40-х годов XX в., в котором наиболее ярко проявилось фантастическое начало.

В творчестве Л. Ондрейова, Д. Хробака, М. Фигули, Ф. Швантнера мир одновременно реален и условен – на основе традиционной для словацкой литературы деревенской темы. Фантастика преобразует традиционный реалистический подход к воссозданию действительности. Важна здесь роль антропоморфизма как показателя параллелизма между человеком и природой. Н.В. Шведова анализировала фантастический элемент в поэмах словацкого поэта В. Мигалика “История с поездом” и “История с телефоном”. Поэмы имеют философско-психологическую окраску, романтические сюжетные посылки и связаны с проблематикой смысла человеческой жизни. Это тем более важно потому, что мы имеем дело с “официальным” автором 70-х годов. В докладе Ю.А. Созиной предметом рассмотрения стали развенчание и поиски Идеалов в современной словенской фантастике. Докладчица обратилась к произведению Й. Сноя “Гавжен хриб. Роман о военном детстве”, предвосхитившему появление постмодернизма в словенской литературе, и к собственно постмодернистским произведениям словенских авторов. Сной показал относительность любых идеалов. В книгах постмодернистов тотальное развенчание идеалов вызвало обратную реакцию. Глобальных, всеохватывающих Идеалов больше нет, но идет поиск новых ориентиров. Т.И. Ченелевская рассмотрела проблемы, связанные с развитием жанра литературной сказки в словенской литературе на примере творчества Янеза Трдины. Анализируя поэтологические особенности этой жанровой формы, автор акцентировала внимание на роли сатиры и фантастики как в творчестве словенского писателя в целом, и, в особенности, в его цикле “Сказки и повести о горящих” (1882–1888). В заключительной части доклада была сделана попытка сопоставить те явления в словенской и русской литературах, которые связаны с активным обращением к жанру литературной сказки.

Конференция выявила актуальные проблемы славистического литературоведения в области фантастики и сатиры, предлагая пути их осмысления и решения.

© 2003 г. Н.В. Шведова

Новые издания Института славяноведения РАН

В 2000–2002 гг. в Институте славяноведения РАН вышли следующие издания:

- * *Адельгейм И.Е.* Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка. М., 2000.
- * *Аксенова Е.П.* Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000.
- * А.С. Пушкин и мир славянской культуры. М., 2000.
- * Балто-славянские исследования. 1998–1999. М., 2000.
- Белова О.В.* Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2000.
- * *Бернштейн С.Б.* Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000.
- Век Екатерины II. Дела балканские. М., 2000.
- * *Головачева А.В.* Стереотипные ментальные структуры и лингвистика текста. М., 2000.
- * *Задорожник Э.Г.* Социал-демократия в Центральной Европе. М., 2000.
- * *Калиганов И.И.* Георгий Новый у восточных славян. М., 2000.
- * *Кирилина Л.А.* Словенцы и революция 1848–1849 гг. М., 2000.
- * Книга в пространстве культуры. М., 2000.
- Лабынцев Ю.А., Щавинская Л.Л.* Православная литература белорусов современной Польши. М., 2000.
- * *Маркович Д.Ж.* Разговор с друзьями. М., 2000.
- * Международные организации и кризис на Балканах. Документы. М., 2000. Тома I, II.
- * *Плотникова А.А.* Словари и народная культура. Очерки славянской лексикографии. М., 2000.
- * Политика и поэтика. Сб. статей. М., 2000.
- Поляки и русские в глазах друг друга. М., 2000.
- Поляки и русские. Взаимопонимание и взаимонепонимание. М., 2000.
- * Русская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы XVII века. М., 2000.
- Славяно-германские исследования. М., 2000. Т. 1–2.
- * Славянские народы: общность истории и культуры. М., 2000.
- * Словения. Путь к самостоятельности. Документы. М., 2000.
- * *Хаванова О.В.* Нация, отечество, патриотизм в венгерской политической культуре: движение 1790 года. М., 2000.
- * Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности. М., 2000.
- * Беседы на Лубянке. Следственное дело Дёрдя Лукача. Материалы к биографии. М., 2001.
- * Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы. М., 2001.
- * *Гугнин А.А.* Серболужицкая литература XX века. М., 2001.
- * Европейские революции 1848 г. “Принципы национальности” в политике и идеологии. М., 2001.
- * Из Варшавы: Москва, товарищу Берия. Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945 гг. М.-Новосибирск, 2001.
- * Институт славяноведения. 1999–2000. М., 2001.
- * Исследования по славянской диалектологии. 7. М., 2001.
- * История литератур западных и южных славян. М., 2001. Т. 3.
- * Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. Сб. статей. М., 2001.
- * *Костюшко И.И.* Польское национальное меньшинство в СССР (1920-е годы). М., 2001.
- * *Молошная Т.Н.* Грамматические категории глагола в современных славянских литературных языках. М., 2001.
- * *Николаев С.Л., Толстая М.Н.* Словарь карпатоукраинского торуньского говора. М., 2001.
- Никольский С.В.* Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (поэтика скрытых мотивов). М., 2001.

*Смирнов Л.Н. Словацкий литературный язык эпохи национального возрождения. М., 2001 г.

*Стыкалин А.С. Дьердь Лукач – мыслитель и политик. М., 2001.

Фрейдзон В.И. История Хорватии. М., 2001.

*Агапкина Т.А. Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.

*Аникеев А.С. Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный период “холодной войны” (1945–1957). М., 2002.

*Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.

*За балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 2002.

*Исследования по славянской диалектологии. 8. М., 2002.

*Левкиевская Е.Е. Славянский оберег. Семантика и культура. М., 2002.

*Лескинен М.В. Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.

*Литература Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-е годы. М., 2002.

*Признаковое пространство культуры. М., 2002.

*Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков. М., 2002.

*Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. Т. 2: 1949–1953. М., 2002.

*Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. М., 2002.

*Социокультурные трансформации второй половины XX в. в странах Центральной и Восточной Европы. М., 2002.

*Studia Polonica. К 70-летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002.

*Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы. М., 2002.

*Утопия и утопическое в славянском мире. М., 2002.

*Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в. СПб., 2002.

*Шемякин А.Л. Смерть графа Вронского. М., 2002.

*Шерлаимова С.А. Литература “Пражской весны”: до и после. М., 2002.

Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва. Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения РАН, комн. 921. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

CONTENTS

ARTICLES

<i>Shevchenko K.V.</i> (Prague). The Rusyn Question in inter-war Czechoslovakia.....	3
<i>Mar'ina V.V.</i> (Moscow). The Eviction of the Germans from Czechoslovakia: Internalization and Realization of the Idea. 1944–1946.....	18
<i>Adel'geim I.</i> (Moscow). Refreshing of the Psychological Language of the inter-war Polish Prose	46
<i>Budagova L.</i> (Moscow). Czech Surrealism. Dynamics and Function.....	52
<i>Mencwel A.</i> (Warsaw). My Vision of the XXth Century	57
<i>Ponomareva N.</i> (Moscow). Striving for Synthesis. Artistic Trends in Bulgarian Prose and Drama of the second half of the XXth Century	63
<i>Flaker A.</i> (Zagreb). Globalization of the Space in Croatian Literature of the XXth Century	68
<i>Shvedova N.</i> (Moscow). The Echo of Symbolism: the Lyrics of Ivan Krasko and the Slovak Poetry of the XXth Century	73
<i>Il'ina G.</i> (Moscow). The Faces of Miroslav Krležhi (The Tragedy of the Left-Wing Intelligentsia in the XXth Century).....	78

COMMUNICATIONS

<i>Ulunian A.A.</i> Revived Bulgaria (125th Anniversary of the Liberation of Bulgaria).....	83
<i>Kolin A.</i> (Bucharest), <i>Stykalin A.S.</i> (Moscow). The Activity of the Commission of the Historians of Russia and Rumania.....	90
<i>Plotnikova A.A.</i> (Moscow). The Topical Questions of Studies of the Contemporary State of Language in Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia and Montenegro.....	101

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Klopova M.E.</i> А.Ю. Бахтурина. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны	109
<i>Sedova N.V.</i> Korespondence: T.G. Masaryk – B. Hlaváč	111
<i>Gerchikova A.I.</i> С.В. Никольский. Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (Поэтика скрытых мотивов)	113

SCIENTIFIC LIFE

<i>Tsybenko O.V.</i> International Scientific Conference “Poland in Russia – Russia in Poland. A Dialogue of Cultures and Political Relations”	116
--	-----

<i>Sozina Yu.A.</i> "The round table" "Poetic World of Slavdom"	120
<i>Shvedova N.V.</i> Conference "Fantasy and Satire in the Slavic literature and Culture of the XXth century"	123
New Publications of the Institute for Slavic Studies RAS	125

Сдано в набор 04.02.2003 Подписано в печать 01.04.2003 Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кр.-отт. 6,3 тыс. Уч.изд.л. 12,1 Бум.л. 4,0
Тираж 589 экз. Зак. 7187

Свидетельство о регистрации № 0110184 от 4 февраля 1993 года
В Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН


Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru

ПОДПИСКА-2003
ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ

1
ТОМ
Российские и зарубежные газеты и журналы

2
ТОМ
Книги и учебники



1
ТОМ
ПРЕС
РОС
И З
ГАЗ
И Ж

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Журналы Российской академии наук можно выписать в любом почтовом отделении России по объединенному Каталогу Федерального управления почтовой связи (ФУПС). Академические журналы объявлены в этом каталоге в разделе "АПР"